

Геннадий
РЯЗАНЦЕВ-
СЕДОГИН

г. Липецк

*Есть земля живых и земля
мертвых и мост между ними —
любовь, единственный смысл,
единственное спасение.*

Т. Уайлдер

Здание архива располагалось за рынком, между пожаркой и храмом Преображения Господня.

Оно напоминало большой сундук с нарисованными на нем в два ряда окнами и дверью посередине. Типичное здание советского периода: безликое, лишённое каких-либо архитектурных изысков. Каким-то образом оно соотносилось с пожаркой — такое же прямоугольное и удлиненное. Но пожарке придавали смысл стоящие рядом красные машины с лестницами наверху. А здание архива было просто сундуком, владельцем которого мог быть кто угодно: представитель любого класса или сословия, от местного ЖЭКа до комитета профсоюзов.

Церковь Преображения, некогда вдумчиво вписанная архитектором в пространство небольшого купеческого провинциального города, теперь смотрелась игрушечно-сказочно на фоне городской промышленной зоны. С грубым пейзажем ее роднили, пожалуй, купола, грубо и безвкусно покрашенные реставраторами яркосиней краской.

Я подошел к зданию, открыл незапертую дверь и оказался в полутемном коридоре областного архива. Меня встретил человек, который точно соответствовал моим представлениям об архивариусе. Он был невысокого роста, в тяжелых ботинках, на которые спадали складками невыглаженные брюки. На нем были драповый коричневый пиджак и темный джемпер, из-под которого белела рубашка и торчал узел бордового галстука. Плечи архивариуса свисали вперед, он сутулился. Лицо было невыразительно. Толстые роговые очки привлекали внимание своей тяжеловесностью, сквозь их стекла были видны по-китайски маленькие, узкие глазки.

— Что вы хотите? — спросил меня архивариус.

— Меня интересует история строительства собора главного храма нашего города, кафедрального собора Рождества Христова.

— Это любопытно, — пропел высоким голосом архивариус, — хотя и неудивительно. Пришло

Земля живых

роман

журнальный
вариант



время открывать то, что долго лежало под спудом. А кто вы по профессии?

Мне почему-то не хотелось говорить ему о своей профессии, но и сказать неправду я тоже не хотел. Но что-то надо было ответить. Я мог бы назваться журналистом, потому что был членом этого союза; мог бы представиться писателем, потому что также состоял в Союзе писателей, или директором гимназии, которую возглавлял уже несколько лет, но подлинная моя профессия, которая была моей повседневной работой...

— Впрочем, — прервал мои размышления архивариус, — я вижу, вы исследователь. Пойдемте, я предоставлю вам некоторые интересные вас документы.

— У вас паспорт с собой? — спросил идущий передо мной сутулый человек.

— Да, конечно.

Пригласив меня в небольшую комнату, похожую на маленький читальный зал, он попросил подождать.

С самого детства я не переносил запаха старых книжек, запаха сухих пожелтевших страниц. Его ни с каким другим невозможно спутать. Запахи — это невидимая пыль, самая мелкая пыль на свете. Такая же легкая, как воздух. Она бьет прямо в слизистую носа, проникает в сосуды бронхов и закупоривает их. Я это знал не понаслышке, так как все детство проболел астмой.

Говорят, что астматики наделены особым восприятием. Их чувства утончены, видимо потому, что они во время приступов удушья переживают страх близости смерти, когда восприятие становится настолько активным, что обостряются все пять физических чувств, которые, как щупальца, вцепляются в жизнь. При этом активизируется шестое чувство, видящее тонкий мир, мир фантомов и привидений. Я помню, что ночью (а приступы почему-то всегда обострялись к ночи, как, впрочем, и все болезни) я мог созерцать предметы, увеличенные во множество раз. Это могли быть стулья, шкафы, горшок с геранью. Я мог видеть числа — числа представлялись особенно часто. Они принимали гигантские размеры и пугающе двигались на меня. Я помню, как изменялось само пространство. В третьем классе я ходил в школу во вторую смену, и на последнем уроке, когда за большими окнами становилось темно, включали свет. Тускло загорались круглые шары пла-

фонов на потолке. Свет был слабым, и я видел, как учительница со столом отодвигалась в глубину класса и превращалась в маленькое, игрушечное существо. Комната удлинялась, и в ней становилось сумеречно, зыбко.

Я предчувствовал, что сегодня вечером случится приступ удушья, я знал, что, когда пойду домой, земля под ногами будет проваливаться и я часто буду спотыкаться и, спотыкаясь, буду испытывать страх. Позже я нашел причины происхождения детской астмы. Она кроется в сильной впечатлительности, и, если ребенок не умеет контролировать свое эмоциональное состояние (а он не умеет этого делать, потому что сознание еще не пробудилось), его окружают страхи. Что-то подобное выражено в офорте Франциска Гойи «Сон разума рождает чудовищ». От страхов перевозбуждается дыхательный центр, который находится в глубине мозга, ослабевает, и контроль над сосудами бронхов теряется. Вот тут-то и начинается приступ.

Кстати, Марсель Пруст был астматиком. Его вывозили на природу в законопаченном автомобиле, чтобы туда не могли проникнуть никакие запахи. Он был настолько утончен, что, видимо, оказывался «человеком без кожи», и живая природа стремилась соединиться с ним настолько, что жаждала его поглотить. Его телесность не справлялась с этим своевольным призывом творенья. Он всю свою жизнь просидел в замкнутом пространстве, не живя, а созерцая окружающий мир и описывая его в удивительных подробностях недоступным толстокожим людям.

Я не любил этот запах старины ещё и потому, что он напоминал мне о прошедшем, умершем времени. А оно всегда жаждет ожить и требует человеческой энергии. Я часто наблюдаю, как люди живут прошлым. Вспоминают события, обстоятельства давно ушедшей жизни, а вспоминая, возвращаются к ним вновь и вновь, часто повторяясь в своих рассказах, тоскуют об ушедшем времени и плачут. О, это самое ужасное! Люди, живущие прошлым, уходят из реальной жизни и, кажется, постепенно умирают вместе с ним.

— Дайте мне ваш паспорт, — прервал мои размышления архивариус, — а я вам подам эту папку. Она прошита, все листочки пронумерованы. Работайте. Материал по собору Рождества Христова небогатый. Может быть, что-то и было

утрачено. Сами понимаете, какое время пережила церковь... Но это все, чем мы располагаем.

Я отдал в руки архивариуса паспорт и взял папку. От нее на меня сразу пахнуло этим запахом пресной, но уже высохшей сырости. Я даже на мгновение отстранился от документа. Слава богу, болезнь моя прошла вместе с переходным возрастом, с этой «роковой порой», по остроумному замечанию Владимира Сергеевича Соловьева. Но опасения все же никогда не оставляют меня. Хорошо, что сейчас переиздают все старые церковные книги, а как я мучился многие годы.

Развязав папку, я извлек пожелтевшие сшитые листы и вот что прочитал: «Христорождественский кафедральный собор – православный храм, расположенный на центральной площади города Липецка, Соборной. Архитектор – Томазо Адолини.

Строительство храма было завершено в 1842 году. Собор построен по указу императрицы Екатерины Алексеевны, благословению Святейшего Синода и преосвященного Иннокентия, епископа Воронежского. Согласно традиционной точке зрения, строительство каменной соборной церкви Рождества Христова началось в 1791 году. Возведение храмовой части Христорождественского собора в основном было завершено к 1803 году, но освятить построенный храм удалось не сразу: произошел пожар, во время которого сгорели все деревянные части собора, сильно пострадал и основной объем здания. К 1805 году соборная церковь была вновь открыта усердием многих благотворителей, а 20 июня 1805 года освящен первый престол нового храма во имя святого Николая Чудотворца. Главный соборный престол в честь Рождества Христова освятили 25 мая 1807 года. Именно с этого времени к Христорождественскому храму от Вознесенской церкви, которая стояла на нынешней театральной площади, переходит функция соборного храма Липецка. Третий престол в храмовой части (правый в южном пределе) был освящен в 1816 году.

В 1822 году было принято решение о возведении церковной колокольни, спроектированной в строгом классическом стиле. Строительство ее начато в 1825 году. В начале XX века на колокольне Христорождественского собора насчитывалось восемь колоколов. Самый

крупный, весивший 489 пудов и отлитый в 1859 году, был перелит в 1900 году.

После сооружения колокольни наступил довольно длительный перерыв в строительстве собора. И только когда разные по высоте и массе объемы колокольни и храмовой части стабилизировались, была начата постройка трапезной. Каменная трапезная была пристроена в 1840–1842 годах, руководил работами протоиерей Андрей Иванович Калугин. Два престола в трапезной церкви были освящены в честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии в 1842 году (левый) и Воздвижения Животворящего Креста Господня в 1842 году (правый). Строительством трапезной и освящением престолов завершилось возведение главного соборного храма Липецка.

В примечании было сказано, что «авторство Адолини оспаривается, так как не сохранился проект и другие оригинальные документы по храму».

Это была вся информация по истории создания собора. Не было указа императрицы и «благословения» Священного Синода в лице преосвященного Иннокентия. Ничего не было известно и о протоиерее Андрее Ивановиче Калугине, имя которого упоминается в последние годы строительства, и ни одного из имен «усердных благотворителей». А собор строился пятьдесят один год! И самое печальное состояло в том, что не было известно ни одного имени из тех людей, которые ходили в собор во все время его строительства, делом и молитвою участвуя в создании дома божьего. А храмы строятся, как известно, «тщанием прихожан». Но история не помнит маленьких людей. Они приходят в жизнь из неизвестности и уходят в безвестность, как будто и не жили на свете. Так весной всходит трава, а к осени высыхает от палящих лучей солнца, истощается и умирает, чтобы после холодной зимы пробудиться для новой жизни. Так приходят маленькие люди в этот мир, рождаются и умирают. Одно поколение сменяется другим, и это течение жизни подчиняется непреложному закону, властвующему над всем в этом временном мире: день сменяет ночь, одно время года следует за другим, за жизнью идет последний враг человека – смерть.

Но бывают времена, когда маленькие люди становятся определяющей силой в истории.

Движимые первобытной энергией, этой живой плазмой земли, объединенные иногда в созидательную силу, но чаще в разрушительную стихию, подобную катастрофическим явлениям самой природы, которые никто не может ни спрогнозировать, ни предупредить, они проливаются горячей лавой, медленно пожирающей все формы, все условности жизни. И мы видим на историческом ландшафте остывшие, бесформенные образования, которые напоминают нам о выплеснувшемся первобытном хаосе. Для меня подлинная история — это история жизни маленьких людей.

Я закрыл папку, отодвинул ее на край стола. Дышать стало легче.

По существу, неизвестно ничего о людях, которые придумали этот проект, как теперь говорят, и осуществили его.

Собор стоит двести двадцать лет, из которых пятьдесят один год он только строился.

Я встал из-за стола, шумно отодвинув стул. У меня не было разочарования. Я предполагал, что найду скудную информацию, и был готов к этому. Я даже знал, что так и будет, и решил проверить свою догадку. Люди забывают все. «Нет памяти о прошлом», — так, кажется, говорил Экклезиаст.

В дверях появился архивариус. В его руках была еще пара таких же тоненьких перевязанных папок.

— Вы уже просмотрели материал? Да, это ничтожно мало. И вы так быстро. — Он, видимо, нечасто встречал посетителей и редкому гостю хотел как-то угодить.

— У меня есть еще документы о двух церковных сооружениях. Это вот, — он постучал толстым ногтем по одной из папок, — Вознесенский собор. Разрушен, конечно. Но был знаменит тем, что в нем венчалась бабушка Пушкина Марина Алексеевна с Осипом Ганнибалом. И еще у стен этого сооружения находился фамильный некрополь Пушкиных, и тут покоится прах капитана Пушкина, отца Марии Алексеевны. Вот, извольте, я вам покажу.

Я вернулся к столу и присел. Он наклонился и достал прошитые листочки. Здесь информации было еще меньше. Ни имени архитектора, ни благотворителей, ни строителей, ни священства: «... был построен в 1751 году при Липецких заводах... колокольня сооружена в

1812 году. В 1850 году собор расширили, и он приобрел окончательный вид».

Сто лет строительства! Если бы не имя Пушкина, об этом храме вообще, может быть, не было бы никакой информации. Возможно, и Пушкина скоро забудут, а будут помнить основателя компании «Apple» Стива Джобса и Билла Гейтса, осуществивших американскую мечту, ставших успешными, богатыми и знаменитыми.

Я поблагодарил архивариуса, вышел на улицу и не мог надыхаться. К счастью, прошла гроза, пахло озоном. Набегал ветер, и я глотал этот свежий влажный воздух, вспоминая, что так было в детстве, когда я выбегал на улицу из школы с дополнительных уроков по математике. Свобода и какой-то необъяснимый восторг вселялись во все мое существо. Я чувствовал прилив сил и готовность совершить что-нибудь хорошее, доброе.

— Идея была правильная, — твердил я, вдыхая прохладу. Оставить документ эпохи, а не только холодное здание, которое молчит. Молчат в истории камни, иногда холмы, а иногда и отхожее место, поставленное большевиками на месте Пушкиных; они не только снесли в 60-х годах двадцатого века храм Вознесения, но на месте захоронения поставили общественный туалет, который просуществовал не один десяток лет. А сейчас здесь ловким предпринимателем поставлен стеклянный павильон, где разливают пиво, напиток бургеров и пролетариата.

Надо описать жизнь маленького человека в важнейший для России исторический период крушения большевистской империи, построенной на лжи.

Идея правильная, верная. Кому я могу оставить этот документ? Своим сыновьям. Да, своим сыновьям. А они передадут это своим сыновьям, и непрерывная историческая память будет передаваться следующим поколениям и никогда не исчезнет.

Отец истории Геродот упоминает в своих текстах о том, что, когда народ собирается строить город, чтобы жить в нем, он начинает строительство города с жертвенника. Народ отводил место, где, владея, будет жить Бог, и уже вокруг сооруженного жертвенника по благословению жрецов строился город.

Вся жизнь во все времена вращалась вокруг культа. Вся деятельность человеческая была ос-

вящена культом. И само слово «культура» имеет своим корнем «культ», то есть религиозное сознание. Позже, когда появились «титаны», или отчаянные люди, преодолевшие центробежную силу культа, они выделили некоторые виды деятельности в отдельные науки, такие как философия, искусство, медицина, которые были беглыми дочерьми своей матери — религии, потому что пользовались той же терминологией, которая родилась в лоне культа.

На первых этапах они, эти виды человеческой деятельности, были пустыми, не имеющими жизненного содержания, люди не придавали им серьезного значения. Но позже в истории они утвердились, как утверждается человеческая гордыня, попирая все авторитеты, включая авторитет Бога.

Опять пошел дождь, зашумел по листьям, и мне пришлось забежать в ближайшее кафе. Рубашка успела вымокнуть. Я подошел к барной стойке и попросил чай, чтобы согреться. Оказаться в помещении, пахнущем кофе и духами молодых женщин, после архива было даже приятно. Я нечастый посетитель подобных заведений, появившихся в городе в огромном количестве. Но внешняя обстановка мало занимала меня. Я присел за ближайший столик.

Храм строился десятилетия, — думал я, — он строился людьми, в него ходили прихожане со своими радостями, когда был праздник, а чаще с бедами, страданиями. Какие усилия предпринимались, чтобы построить храм, какие жертвы «сокрушенного и смиренного духа» приносились через священников к Святому Алтарю?!

Строительство храма подобно странствию евреев в пустыне после Вавилонского пленения. Это собирание жизни. Вместе с ростом стен храма должна расти Церковь (собрание народа), как тело Христово.

2001 год, новый век. Сейчас начинаются роды, фамилии, и жизнь уже не будет случайной, и любовь не будет случайной, рождение детей не будет делом случайным. Мы, священники (и вот, кажется, я проговорился), видим жизнь с такой ее стороны, которая закрыта от других людей. Человек поворачивается к священнику и к Богу самой сокровенной стороной своей души. И вот эту обнаженную жизнь людей надо описать. Надо пройти с Христом через время, через новую

эпоху рождения церкви. Описать время, не забыть маленького человека.

— Здравствуйтесь, батюшка, — услышал я робкий женский голос у себя за спиной.

— Здравствуйтесь.

Я приподнял голову, повернулся и увидел стоящую перед столиком женщину средних лет, одетую старомодно, со сбившейся прической и мокрыми плечами потемневшей от дождя голубой кофты.

— Позвольте, я присяду.

— Да-да, садитесь.

— Вы знаете, простите. Какой знак, что я увидела вас! — она говорила взволнованно и растерянно. — Я увидела вас у пожарки, все время шла за вами, но боялась подойти. А когда вы вошли сюда, все время стояла там, у двери. На улице дождь. Как хорошо, что дождь, вы ведь не пойдете в дождь, я должна подойти к вам.

— Что случилось?

— Может быть, вы меня не помните, к вам столько приходит людей, — она зашуршала целлофановым пакетом и достала что-то завернутое в простой крестьянский платок. — Ну, помните, когда вы служили в Христорожественском храме, на Соколе, я приходила к вам и рассказывала о моем сыне.

Я вглядывался в эту растерянную женщину и припоминал обстоятельства встречи. Простое лицо ее показалось мне знакомым.

— Я рассказывала о сыне, ну что он замкнут... Что он все время сидит дома, никуда не ходит, с девушками не дружит, а ведь ему уже тридцать один год. Я переживаю, это моя единственная боль и страдание. Я всю жизнь его воспитывала одна, муж нас бросил. Он хорошо учился в школе, и образование у него есть — строительный техникум. Но он одинок, я боюсь, что он не женится никогда. Все читает книжки и задумывается. Я уже шпионила за ним, подозревая, что он к сектантам ходит. Но вышло еще хуже... — руки ее дрожали от волнения. — Вот здесь, — она указала на платок, — вот здесь то, что я нашла сегодня утром под его подушкой, когда он ушел на работу. По-моему, он стал сатанистом.

— Да что там у вас, дайте посмотреть, — с нетерпением сказал я.

Она развернула платок и протянула мне книгу.

Книга была не очень хорошо издана. Черная глянцева обложка. На лицевой стороне мол-

ниевидная надпись красным «Бесы», наверху мелко стояло имя автора — Ф.М. Достоевский.

— Что мне сделать с этой книгой, сжечь? И как мне с ним вести себя?

Я смотрел на эту русскую женщину, на ее взволнованную растерянность и понимал, что те слова, которые я скажу ей сейчас, могут превратить меня из священника во врага.

— Это хорошая книга, пророческая, — спокойно сказал я, раскрывая страницы, — это книга о том, что мы, русские, уже пережили в XX веке.

— Может ли хорошая книга иметь такое название, батюшка? — она строго и недоверчиво посмотрела на меня.

— Понимаете... Это обличающая книга, — я подбираю слова.

Она с большим недоумением смотрела на меня. Слепая любовь к единственному смыслу ее жизни застила ей глаза. Торопливо взяв книгу и завернув ее в платок, она встала передо мной.

— Ваш сын неглупый человек, — вставая со стула, сказал я, — если он читает Достоевского.

Я хотел как-то поддержать ее.

— В наше время, советское, подобные книги были запрещены.

— Но это было советское, безбожное время. А Федор Михайлович был богоискательским писателем, поэтому его запрещали.

Она не слышала меня, повернулась и пошла к выходу.

Больше она ко мне не придет. Как надо быть осторожным с русским народом!

Я вновь погрузился в занимаемые меня мысли. Писать документ эпохи надо с того, как все началось. Как мы копали котлован, огромный, в шестьсот квадратных метров, а в глубину — на два метра. Как украшали его внутри цветами, деревьями и дорожками из дерна. Как подготовили яму для закладки камня и гранитную плиту с надписью, что в лето такое-то от Рождества Христова в такой-то день, при «правлении Императора Тиберия» (как писалось в Священных книгах), ну, то есть при управлении епархией митрополита Серапиона, началось строительство храма, святылища, жертвенника, престола. Чтобы эту плиту поместить потом в бетон и закрыть фундаментом, стенами, главками, куполами и крестами храма. И когда-нибудь, через несколько длинных столетий или тысячелетий рас-

падутся камни и найдут потомки плиту, прочитают и вспомнят нас. Вспомнят, что и мы жили, и мы любили, и страдали, и хотели эту жизнь сделать лучше. Писать, как приехал со свитой митрополит и прибыли на дорогих машинах с тонированными черными стеклами глава области и мэр города и как стояли смиренно и торжественно на нашем дерне, который мы привезли с заливного луга у реки. А потом была молитва, речь митрополита, и блестящий хромированный мастерок, и эмалированное ведерко с раствором, поданные владыке, и он, подбирая пухлой ладошкой свои облачения, наклонившись, внес свою лепту в строительство. И опять, распалившись, говорил речь о возрождении народа, его нравственности. И как поочередно вторили ему глава и мэр, тогдашние правители области и города, обещая выстроить храм за два года. И, объединенные пафосом своих речей, медленно тронулись кортежем на трапезу, чтобы от духовного восторга перейти в восторг физический. А собравшиеся люди, несколько тысяч человек, глядели в амфитеатр нашего котлована сверху на это захватывающее зрелище и не думали, что это уже было и в Римской, и в Греческой, и в любой другой империи, и так будет всегда. Потому что народы будут продолжать существовать, заботливо объединяемые принципом дозированной лжи.

Сыну

Мой дорогой мальчик!

Тебе может показаться, что мне важно, чтобы запомнили меня в истории. Нет, это не так. Я не тщеславен. Моя задача — составить документ эпохи. Мы все проходим через время путь от рождения до смерти. Каждый должен что-то понять, осмыслить и оставить после себя самое важное.

Царское церковное сознание. Я никогда не мог рассказать тебе, что это такое. Ты не слышал меня. Понимаю, ведь ты пришел жить свою судьбу.

Царское церковное сознание всегда было у русских. Оно закодировано в ментальности. Это невозможно убрать из сознания. Пример этому явлению то, что все принимают крещение. Никто ничего не понимает в этом, но народившегося младенца несут в церковь и крестят. Это спрятано в сознании, где-то в глубинах, в самых корнях его. Оно словно напоминает: «на-

до поставить свечку», «надо сходить в церковь в следующее воскресенье», «надо помянуть», «надо съездить в Лавру к преподобному». Все одним миром мазаны. Этого не смогли выбить даже большевики, которые отстреливали попов и им сочувствующих, гноили их в лагерях, а из мест поклонения сделали психушки, отхожие места и оставили одни камни.

Царское церковное сознание — это полнота жизни церкви. Если мир сотворен ради церкви по слову святых отцов, то из этого следует, что это понятие является полнотой самой жизни, абсолютное осмысление ее. Оно открывает особое видение жизни. Оказывается, у нее есть не только горизонталь, плоскость, на которой копошится все живое, но и вертикаль, структура, призванная организовать это движение текучей, меняющейся, ускользящей жизни. Святейший патриарх, Предстоятель, глава Церкви на самом вершине. Далее — чиновники, священство. За ними мальчик в белых одеждах с льняным полотенцем на плечах и с кувшином воды в руках, чтобы умывать Святейшему патриарху руки во время богослужения; пониже — народ, стоящий в храме, и какой-то мальчишка в рваных джинсах, бегущий по улице с залепленными наушниками ушами. А в наушниках речитативом рэп, бессвязная свалка слов и нелепых понятий. И все это и есть Царское церковное сознание. Полнота всей многообразной жизни. Это — как круги на воде. Помнишь, мы с тобой были на море вечером, когда садилось солнце, тонуло в спокойной уже холодной глади воды. Я еще снимал тебя, твое лицо внутри солнца, и оно светилось аурой, как на иконах сияют святые лица. Солнце покоилось на твоём худеньком загорелом плече, а ты укладывал на него свою взлохмаченную голову и закрывал глаза, понарошку засыпая. Потом все больше остывающее солнце в пригоршне твоей ладони. А когда опускалась прохлада, вода становилась тяжелой и по цвету сизой, и мы бросали в нее гольши. Представь себе картину, мой мальчик, твердый камень — это святейший патриарх, на нем все стоит, все держится, а круги, расходящиеся от этого главного камня при соприкосновении с водой, — это все мы, кто на каком круге. Кто ближе, кто дальше. Так вот, этот мальчишка в наушниках может быть на самом последнем круге. Он ничего не знает, кроме своего рэпа. Но и он включен в это Царское церковное сознание, в эту

полноту жизни. Потому что там, на камне, где стоит Святейший, и проходит ось мироздания, и вокруг этой оси всё вращается.

Мне надо написать об этих кругах. Они всегда разные, как бывают разные времена. Они всегда расходятся по воде. Но сейчас круги расходятся особенно далеко, и последние почти незаметны, это означает, что они теряют связь с местом падения камня. Потеря связи — это уход в небытие, это смерть. Мне кажется, что сейчас самое главное время для русского народа, для всех нас. Сходятся все пророчества. Чтобы это видеть, нужно иметь особое духовное зрение. В современном мире получает все большее развитие новая религия, религия золотого тельца. Деньги являются символом власти и земного благополучия. Они олицетворяют привязанность человека к земле и силам материальной природы. Новое Пятикнижие из стекла и бетона, демонстрирующее комфорт жизни, достигает своего кульминационного развития. И мысль русского классика XIX века о том, что «деньги не Бог, но полбога», в XXI веке звучит уже по-иному: деньги не полбога, а Бог.

Мне надо пройти по этим кругам, понимаешь, мой дорогой мальчик. Мы все смертны, мы все когда-нибудь умрем. Но тот дом, который достраиваю я, будет местом, где заговаривают смерть. Где заговаривают последнего врага человека. Все люди внутри себя испытывают страх. Но все они помнят, или догадываются, или, может быть, знают наверняка, что это место где-то на свете есть. И они придут в этот дом, чтобы уничтожить животный страх, который унижает человека.

Даже власти предержавшие, богатые и сытые, любят встретиться со Святейшим или нашим владыкой, попить водки под грибочки, послушать рассказы о чудесном, о бессмертии, по привычке перемежая эти рассказы анекдотами. Но и этим, и всем простым людям некогда. Их убаюкивает жизнь, как младенцев в колыбели. Они откладывают и откладывают последнее сражение. Когда же кости станут хрупкими, а кожа начнет свисать и морщиниться, когда глаза, увидев медсестру со шприцем, в котором морфий, будут выражать страх, когда физическая боль составит главную мысль в сознании, тогда поздно искать это сакральное место, где заговаривают смерть.

Все стоят на этих кругах, кто-то ближе, кто-то дальше. Даже в реальной жизни ходят вокруг

храма. Он возвышается на тридцатисемиметровую высоту в нашем городке. Самую высокую точку венчает крест. И все кружится вокруг этой точки, то приближаясь, то отдаляясь от неё, а то исчезая в стране далекой.

Василий Федорович

Он любил все русское. А самогон, который получался у него чистым и крепким, называл «саке». Он жил в деревеньке, в доме, построенном своими руками. Все в доме было ладно. Но особой гордостью была срубленная баня и сарай с инструментом. Это была территория, куда не ступала нога жены.

Василий Федорович жил на пенсию. Но дома не сидел. Человек он был мастеровой, все в деревне об этом знали и приглашали где поставить забор, где подладить крышу, а где просто поговорить. Был он человек легкий и словоохотливый.

Меня он пожалел. Увидел молодого священника, худого и длинного, с гуманитарным образованием, ничего не понимающего в строительстве, и взял меня под свою опеку. Я не сопротивлялся. Василий Федорович учил, подсказывал и сам хотел строить храм. Это было для него символом свободы, о которой мечтал самостоятельный русский человек, загнанный в жесткие рамки коммунистической идеологии. «Слава советскому народу, строителю коммунизма, слава родной коммунистической партии!» Эти лозунги, которыми была проникнута вся общественная жизнь, в которую и он был втянут, сильно раздражали его. Он читал книжки и знал славную историю России до большевистского переворота в лицах. И тосковал о той жизни, которая была уничтожена Советами.

Он хотел строить другую жизнь на тех основах, которые были особенно враждебны советской власти. А это была религия, и её воплощение — храм. Необязательно, что он будет членом церкви, который обязан посещать её, молиться, каяться и подходить к Причастию, получая свою часть в Теле Христовом, которым называют церковь, но он хотел поучаствовать «в святом деле, считая это долгом перед пострадавшим отечеством» (это были его слова).

На пенсию Василий Федорович уходил с завода РАПС, который к тому времени приватизиро-

вали. Ему достался легендарный немецкий кран РДК-25, на котором он работал. Документы на машину лежали дома, а кран, которому было тридцать лет от роду, стоял на территории завода. Он был в полуразобранном состоянии, с испорченной электрикой. Кран стоял, а Василий Федорович наслаждался свободой человека, который решил пожить в своё удовольствие. Дети выросли, жена была покладистая, «саке» он выгонял в неограниченном количестве и, приглашая меня в свой дом, подливал суровый напиток, от которого молодой священник быстро пьянел. Довольный силой своего продукта, Василий Федорович вспомнил о кране.

— Я его сделаю, поставлю тебе на стройплощадку, — говорил Василий Федорович, обнимая меня за плечи, — он нам построит храм.

Я соглашался. Василий Федорович еще подливал «саке» и требовал к себе уважения. Я же, когда он отворачивал лицо, сливал горький напиток в пустую кружку, стоявшую тут же на столе.

Удивительно, но Василий Федорович отремонтировал РДК-25, на грузовой платформе КраЗа пригнал машину и поставил на стройплощадке.

Этим немецким краном я и построил храм. Он простоял, двигая свою башню, семь лет. Было, было искушение у Василия Федоровича забрать кран и отдать в аренду. Он приезжал, торопил стройку. Даже обижался на меня. Ему хотелось заработать денег. Но он, стиснув зубы, терпел.

Весной он запланировал первую поездку за границу. Купил путевку в турагентстве и начал готовиться к отдыху в Турции, но неожиданно заболел. Он угасал на моих глазах. Похудел, осунулся.

— Приезжай, полечи меня, — звонил мне Василий Федорович.

Я приехал и нашел его в постели. Он притих, был слаб и бледен. Смирненно подчинился моим требованиям собороваться, покаяться и причаститься. Потом сказал:

— Пойдем на двор, я покажу тебе свой инструмент.

Он поднялся с кровати и пошел впереди меня. Голова его стала большой, а сам он как-то усох, уменьшился. Шел он медленно, осторожно.

Выйдя на улицу и пройдя вдоль дома несколько шагов, Василий Федорович остановился, глубоко вздохнул и крикнул шепотом, позвав жену:

– Тамара!
 Я вторил ему:
 – Тамара Ивановна!
 Она прибежала из дома.
 – Что, плохо?
 – Давай, батюшка, в другой раз покажу тебе инструменты, – предложил он, посмотрев на меня. Он понимал, что ему совсем плохо, но не хотел признаваться самому себе.
 – Поправишься и полетишь в свою басурманию, – ободряюще сказала Тамара Ивановна.
 Василий Федорович протянул мне слабую руку и молча, не оглянувшись, пошел в дом, поддерживаемый своей верной женой.
 Через два дня он умер.

На стройке меня ждали Тихон Антонович, прораб, назначенный мною старшим из спонтанно возникшей бригады, Сергей Шустов, сельчак Вячеслав, Виктор Васильевич, крановщик, и два подсобника.

– Отец Евгений, – обратился ко мне Вячеслав, – дайте пятьдесят рублей, надо выпить, наверх лезть страшно.

– Ему не страшно, ему похмелиться надо после вчерашнего, – прокомментировал Шустов.

Все смеялись. Подсобники, невыспавшиеся молодые ребята, переглядывались.

Тихон Антонович был серьезен. Он шел мне навстречу с планом по поводу предстоящего рабочего дня. Это был человек лет шестидесяти, худощавый, с кепкой на голове. Он перенес рак горла и, разговаривая, свистел из-за дырки в гортани. Воздух ходил и ртом, и горлом. Речь получалась с частыми придыханиями, но была разборчива. К счастью, он много не говорил. А если и говорил, то всегда по делу. Специалист он был настоящий и безоговорочный, чем сыскал искреннее уважение к себе и даже почтение. Его смелость меня поражала. Проект строительства храма со множеством сложных монументальных частей (высоких стен с проемами для окон, сводов, главок, колонн, вычерченных в геометрических пропорциях) лежал у его ног, и Тихон строил его кирпич за кирпичом. Нанимать строительную компанию для меня было накладно. Этот опыт я проходил при строительстве цокольного этажа. Но мне повезло – я встретил человека, возглавлявшего организацию, Шамардина Игоря Николаевича. Фамилия была знако-

вой. Так именовался монастырь, построенный преподобным Амвросием Оптинским. В нем, кстати, спасалась сестра Льва Николаевича Толстого монахиня Мария. При каждой встрече с Игорем Николаевичем я вспоминал монастырь, его знатную фамилию и говорил, что ничего случайного не бывает. И он, как говорится, по-божески брал с нас плату. Фундамент получился отличный, причем с сопутствующими документами актов скрытых работ.

– Антоныч! – кричал багровый крановщик Виктор Васильевич. – Куда стрелу подавать?

Тихон Антонович, не оборачиваясь, отмахнулся рукой. Он шел ко мне.

– Как самочувствие? – спросил я его. – Как настроение?

Мы поздоровались. Ладонь его была длинная, сухая и мягкая.

– Самочувствие рабочее. Когда ожидать кирпич? – прохрипел Тихон Антонович.

– Выработаешь этот, – я указал на оставшиеся две клетки, – и я привезу.

– Чтобы мы не простаивали... А то сейчас им дай волю, они побегут в магазин.

Я согласился.

– Антонович, следи за молодыми ребятами, чтобы никто не травмировался.

– Они внизу будут замешивать. Кирпич, кирпич, – настаивал Тихон.

Переговариваясь, строители пошли на леса.

А я отправился в приемную Тракторного завода, чтобы просить транспорт.

Пятнадцать лет назад это был завод всесоюзного стратегического значения. Градообразующее предприятие. Он звучал наравне с Минским тракторным заводом, Челябинским тракторным. Конвейер не останавливался круглые сутки. Люди работали в три смены. Площадки завода сплошь были заставлены новенькими тракторами, спрос на которые в аграрной стране, стране бездорожья, был огромен. На заводе работало около тридцати тысяч человек. Был заводской дом отдыха, профилакторий, своя поликлиника и больница, детские сады, огромный Дворец культуры, стадион с футбольным полем и хоккейной коробкой, бассейном и городошной площадкой. Легендарный директор завода, Василий Яковлевич Клеменков, любил городки. Наш поселок Тракторостроителей был чистым, дороги и дома отремонтированы, возводилось и дарилось

новое жилье. Строились общежития и «молодоженки» для молодых специалистов, приезжавших на работу со всей страны. Люди работали с огоньком. В горбачевскую перестройку все рухнуло. А при Ельцине все разворовывалось. И не только в нашем городе. В последние годы сменилось шесть директоров, и все с нерусскими фамилиями. То, что создавалось соборным усилием только что отвоёванным с фашистами русским народом, ушло в руки частного капитала, который уже не думал о людях. Он думал о чистой прибыли, распродавая и вывозя по ночам материальные ценности, принадлежавшие народу. Не было уже детских садов, бесплатных больниц, профилакториев и домов отдыха. Жалкие полторы тысячи человек в рабстве трудились на нового хозяина частного завода, на территории которого зияли выбитыми окнами пустые цеха, некогда наполненные жизнью. И, казалось, были слышны голоса и смех самоотверженных строителей коммунизма, уникальной цивилизации рабочих людей, веривших в социальную справедливость и светлое будущее.

Меня приняли радушно. Денег не дали, ссылаясь на огромные кредиты. Предоставили два КАМАЗа для вывоза кирпича. Я был доволен и этим. Работа закипела.

Илюша

Это был мальчик двух-двух с половиной лет. Родители его жили в старинном районном городке, которому удалось сохранить свой первоначальный облик.

Главной достопримечательностью городка был монастырь с мощами святителя Тихона Задонского. В девяностых годах начали его реставрацию и вскоре обрели мощи святителя, и жизнь в монастыре была восстановлена.

К двухтысячному году в монастыре насчитывалось около ста монахов. Было много послушников и бесчисленное количество трудников, которые то приезжали, то уезжали, хлебнув трудностей от различных послушаний.

Каким образом Наталия и Александр, родители Илюши, приехали ко мне в храм, я до сих пор не знаю. Помню только, как они подошли ко мне в нижнем храме, во время службы. Наталия стала плакать, а взволнованный муж держал её за

руку и успокаивал. Я попросил его оставить нас одних для разговора. Наталия взяла себя в руки и рассказала, с чем они приехали.

Оказалось, что их маленький сын Илюша тяжело заболел. Врачи поставили ему диагноз — острый лейкоз, и он находился в областной больнице вместе с матерью. Сейчас с ним бабушка, и они смогли добраться до меня.

Наташе нужно было выговориться. В такие минуты не надо подталкивать человека к откровенным разговорам. Он сам ищет выход из трагической ситуации. Он анализирует события недавней жизни, пытается найти ответ:

— За что Бог наказывает нас, за что Бог дает такой крест?

— Господь не наказывает, Господь милосерден. Мы сами себя наказываем, потому что не слышим советов Бога.

— Но почему болезнь дана ребенку, который ни в чём не виноват, а не мне или его отцу? Почему должен страдать наш мальчик? — Она заплакала. — Господи, почему такая несправедливость? Подскажите нам, что делать?

У священника есть много ответов на подобные недоуменные вопросы. И все мы говорим одно и то же. Нам кажется, что мы высказываем мнение церкви, сложившееся из ее предания и многовековой мудрости. И когда мы это высказываем, мы исключаем личное, живое участие в только что открывшейся нам жизни. И подобные рассуждения работают тогда, когда мы дискутируем с людьми, далеко отстоящими от реальных трагических событий действительной жизни, событий, которые их ещё не коснулись. Но когда настоящая беда хватает человека, несёт его в темноту и держит, превращая все его существо в одну сплошную оголенную боль, тогда не работают никакие теоретические рассуждения на тему промысла Божьего, вины родителей, жизни будущего века и так далее. Тогда нужно что-то другое. И это другое подобно сошествию в ад. Надо идти вместе с ними, со всей своей любовью, со всем своим состраданием, на которые ты только способен, идти в их жизнь как друг, как отец, как священник. Надо этих людей выделить как единственных сейчас в твоей жизни, как самых родных, самых дорогих и близких. Взять на себя их боль.

— Наталия, я вам помогу, обещаю. Все, что

будет в моих силах, я сделаю. Мы вытащим вашего мальчика. Будем молиться вместе, Бог наш милостив, он не оставит нас, Богородица нас защитит.

— Я совсем не умею молиться. Я не знаю даже «Отче наш».

— Молитвы не надо учить, их надо читать по молитвослову. Они сами остаются в сердце. И тогда нет ничего сладостней молитвы.

— Но что нам делать сейчас? — Наташа обернулась и жестом пригласила подойти мужа.

— Ваш брак освящен Богом?

— Как это? — спросила Наталия.

— Вы венчались в церкви?

— Нет, мы невенчаные живем. И сейчас мы на грани развода.

Её муж опустил голову.

— Он нам изменил. Он, батюшка, предатель.

— Это правда? — тихо спросил я.

— Бес попутал, — признался муж Наталии, — но я повинился и у нее просил прощения на коленках. Она не прощает.

— Я тебе верила, я за тебя пошла. Я родила тебе, — Наталия снова расплакалась.

Я помолчал, ожидая, когда она успокоится.

— Все это должно уйти на второй план, — твердо сказал я, — сейчас главное — здоровье Илюши. Он между вами, и вы должны вновь войти в поле любви между собой, и ваш мальчик станет поправляться. Наклони голову, — попросил я Александра, — прочту над тобой молитву.

Саша смиренно повинился. Я накрыл голову епитрахилью и громко, чтобы слышала его жена, спросил:

— Раскаиваешься в содеянном грехе?

— Каюсь.

— Не будешь повторять грех?

— Нет, не буду, батюшка.

Я прочитал над ним молитву. Наталия, кажется, успокоилась.

На следующий день я обещал приехать в больницу и пособоровать Наталию и Илюшу.

Письмо

Дорогой мой мальчик! Самое сильное разочарование, которое я пережил в своей деятельности, связано с одним случаем, после которого мне надо было бы оставить свое священство и

уйти в монастырь, в глубокое одиночество, чтобы замалывать свои грехи. Но я не ушел, остался.

Ко всему привыкаешь. Привыкаешь к предательству, привыкаешь ко лжи, привыкаешь к горю людей, к смерти. Привыкаешь к крушению иллюзий, к утрате убеждений и принципов, к потере веры, привыкаешь к жизни. И идешь как ослик, нагруженный поклажей, идешь, потому что надо идти, надо жить. Другой жизни нет и не будет.

Почему взрослые переживают за жизнь подрастающих мальчиков и девочек? Потому что юность — это красивый остров в океане и с этим островом предстоит расстаться, чтобы плыть к своему причалу по морю житейскому. И каким будет первый шаг, таким и будет все плавание и твоя пристань. Правда и даже Истина в юности уже присутствуют в человеке. Бог действует внутри человека неким своим содержанием. Его можно назвать благочестием. Это таинственное слово. Я тебе когда-нибудь расскажу о нем подробнее. И вот ЭТО присутствие благочестия мешает молодому человеку преступать за пределы Правды и Истины. И если он начинает совершать поступки против этих священных понятий, которые неосознанно живут в нем (они просто есть в нем как данность), он очень мучается и страдает. Как трудно бывает в детстве совершать первые преступления против совести, которая является как раз проявлением этих понятий. Страшно бывает первый раз солгать, первый раз украсть, первый раз предать. После каждого события, связанного с преступлением против совести, юноша оказывается побежденным. А потом эти падения делают человека бесчувственным. Голос совести слышен все тише, и наконец он умолкает совсем.

Ты помнишь, что у меня спортивное прошлое. Когда я закончил свою профессиональную карьеру после травмы (а это произошло в двадцать лет), я все же решил остаться в спорте. У меня не было специального образования, но имелся богатый опыт, и мне предложили стать тренером. Я начал работать и за пять лет достиг хороших результатов. Я тебе никогда не рассказывал, как я оставил тренерскую работу. Вот именно тогда у меня сработал принцип личного достоинства от понимания своего нравственного падения.

У меня тренировалась группа старшекласников. Это были ребята из близлежащих школ. Все

активные, шустрые, крепкие, как молодые львы. Многие из них были из неблагополучных семей. На одной из тренировок, утром, ребята совершали обычную перед специальной работой разминку. Я, как тренер, давал команды и занимался развешиванием тренировочных мешков. Зал был большой, гулкий. Стоял шум топота от тридцати ног по деревянному покрытию, и резкий, пронзительный голос свистка залетал во все углы зала и отражался от них. Я попытался перекричать:

— Приставным шагом, вращение головы, разминаем плечевой пояс... — и так далее.

После разминки специальные упражнения и три раунда боя с тенью. Все было как обычно, без сбоев. Но вдруг я начал раздражаться на то, что они небрежно, рассеянно, а то и просто дурашливо выполняли задания, пока я был занят подготовкой снарядов. На мои замечания они просто не реагировали. Их охватил детский психоз. Попала смешинка в стаю.

Я остановил тренировку, спустился со стремянки и спросил их:

— Вы что, уже все знаете, все постигли в боксе?

Все молчали, и вдруг один из них сказал:

— Кое-что постигли... при вашем руководстве.

— Хорошо, — сказала я, — надевай перчатки. — Окинув взглядом других ребят, добавил: — И вы все тоже. Сейчас вы мне покажете, на что способны.

А сам стал бинтовать руки и натягивать перчатки.

Я увидел, что многие из них заволновались. Разница в возрасте была у нас незначительная. Мне было тогда двадцать пять лет, а каждому из них по шестнадцать — семнадцать. Но я был тренером, имел звание мастера спорта.

Они в ожидании сидели на лавочках.

— Иди сюда, — я пригласил самого разговорчивого. Я знал, что он начитанный мальчик, хорошо учится, но в спорте не останется. Тут нужен характер бойца. Минуту спустя он опустил руки и попросил закончить бой.

— Кто следующий? Саша, иди сюда.

Я пригласил Сашу Меркулова, и это был совсем другой мальчик. Атлетически сложенный, настроенный на достижения в спорте, занимающийся фанатично. Лучший спортсмен в команде. Я начал двигаться, прощупывать его и, играя с ним, давал ему возможность проявить себя. Через минуту я почувствовал, что он настроен

решительно и серьезно. Он несколько раз настояющему пытался достать меня. Мне показалось, что он нарушал субординацию. Я внутренне вспыхнул и решил проучить его.

Через секунду он был на полу. Я сбросил перчатки и попросил ребят помочь мне. Мы отвели его в душ, он умылся и, кажется, пришел в себя. Я шел с тренировки и твердил одну и ту же фразу: «Какой же ты педагог, какой же ты тренер, если можешь так вести себя со своими воспитанниками?»

Ночью спал плохо. Утром пришел в школу, вызвал его с урока.

— Как ты себя чувствуешь, голова не болит?

— Да все нормально, Евгений Владиславович, не волнуйтесь вы.

После этого я написал заявление об уходе. Так закончилась моя карьера тренера. Я не мог простить себе этого поступка.

Правда, много позже мои воспитанники, которые выбрали разные дороги в жизни, встречая, говорили мне:

— Евгений Владиславович, зачем вы нас тогда бросили? Вы были для нас больше, чем тренер.

Но это уже другая история...

А теперь я остался, не ушел.

В храм приходили две сестры. Очень дружные. Вместе занимались бизнесом, на рынке держали павильон женской одежды. Помогали мне на первом этапе строительства храма. Они пожертвовали храму большое распятие с Голгофой. Очень красивое распятие. Богочеловек красив и совершенен. Не только внутренним присутствием Божества. Как Бог может быть некрасив? Он само совершенство. Но и человек в Нем тоже совершенен. Есть описание внешней красоты Спасителя. Это свидетельство проконсула Иудейского Лентула. Привожу тебе его полностью: «В настоящее время, — так писал Публий Лентул, — явился у нас и ныне еще жив Человек с высокими качествами души и добродетельнейший; имя Ему Иисус Христос. Народ почитает Его могущественным и великим пророком, а Его ученики называют Его Сыном Божиим. Он воскрешает мертвых и исцеляет всякого рода болезни и недуги одним словом Своим. Этот Человек имеет высокий и чрезвычайно стройный стан. Волосы Его имеют цвет созревшего ореха, без блеска, и гладкие до ушей, а от ушей — до плеч и ниже — кудрявы и блестящи; посреди головы разделяют-

ся они на две стороны, по обычаю назореев. Чело гладкое и чистое; на всем лице нет никакого пятна, и оно украшено легким, темноватым румянцем; нос и уста правильные; бороду имеет такого же цвета, как и волосы на голове, густую, но не длинную, раздвоившуюся на конце. Взгляд Его тих, скромн, величествен и необыкновенно приятен; глаза Его небесного цвета, проникающие в душу и блестящие. Он весьма ласков и любезен, когда учит и увещевает; строг, грозен и страшен, когда судит и обличает. В чертах Его лица выражается удивительная привлекательность, соединенная с величием. Никто не видел Его смеющимся, но часто видят Его плачущим. Говорит немного, но с важностью, и каждое слово Его глубоко обдуманно и исполнено силы и мудрости. Истинно можно сказать, что этот Человек — прекраснейший из всех людей, и в Нем Самом, и во всех поступках Его видна чистая истина, в которой нет лести».

Какое прекрасное описание личности Христа! Это пишет человек, который был Его современником. Так сказать, свидетель событий. Так вот эти сестры подарили храму большое распятие.

У каждой из них была семья и по одному ребенку — мальчику.

Рустик, сын младшей сестры, был мальчиком крепким, слегка застенчивым, даже скромным. Светлые волосы немножечко курчавились, щеки поминутно покрывались пурпурными пятнышками, подчеркивая синеву глаз. Типичная славянская внешность. Ходил в храм из уважения, даже почтения к матери. Татьяна подталкивала его из толпы на исповедь к священнику и, закрыв глаза, во время исповеди мальчика усердно молилась.

Когда он встретил девочку, я стал видеть его в храме все реже и реже. К тому времени ему исполнилось уже девятнадцать лет, а Маша была на два года старше.

— Он меня уже не слушает, отец Евгений, — обеспокоенно говорила мне Татьяна, — я отошла на второй план.

— Пусть они вместе приходят молиться.

— Нет, батюшка, там неблагополучная семья. Таня живет с матерью и отчимом. Они очень приземленные. Для них церковь что есть, что нет, по-моему, все равно.

— Жаль, ах, как жаль, — сетовал я в такие минуты разговора.

Однажды вечером завозился на моем столе телефон. Я посмотрел на часы. Десять тридцать вечера.

— Алло. — Я узнал голос Татьяны.

— Батюшка, у нас беда! — взволнованно и торопливо говорила она в трубку. — Простите, простите, что в такой поздний час. Наш Рустик в больнице, наглотался таблеток. Слава богу, его спасли. Ему нужна ваша помощь. Срочная ваша помощь! Понимаете? Батюшка, поговорите с ним.

«Для чего я поеду в такое позднее время в больницу? — думал я. — Может быть, он уже спит после процедур».

— Батюшка, не откажите, — взволнованно говорила в трубку Татьяна. — Приезжайте, пожалуйста. Вы его просто поисповедуете. И больше ничего. Пусть он раскается и так больше не поступает.

Она искренне верила, что одного слова священника будет достаточно для того, чтобы все стало как прежде. Эта ее вера подвинула и меня.

— Хорошо, — согласился я, — сейчас приеду.

Когда я подъехал к приемному покою, больница почти вся спала, горело несколько окон операционной ярким неоновым светом процедурных и туалетов, из которых вырывался дым полуночных курильщиков.

Меня встретили обе сестры, Татьяна и Зоя, и наперебой стали рассказывать о том, что случилось.

— А меня пропустят?

— Пропустят, батюшка, мы договорились.

Я вошел в узкую комнату приемного покоя с кафельным потрескавшимся и шелкающим под ногами полом и увидел одиноко сидящую девушку. Это была она, Маша. Некрасивая, круглолицая, с широко расставленными глазами, вздернутым коротким носом и растянутым, невыразительным ртом, она поражала своим унылым и мрачным видом.

— Это Маша, — сказала Татьяна и добавила, обращаясь к ней: — Встань, возьми у батюшки благословение.

Девушка робко встала. Но она не знала, что это значит «взять благословение». Татьяна торопливо складывала ее неслушавшиеся ладони. Я перекрестил ее и положил руку на голову со словами:

— Бог благословит, — и добавил, обернувшись к сестрам: — Можно я поговорю с ней?

Женщины оставили нас одних. Она совсем перепугалась и вся сжалась.

— Что случилось? — спросил я Машу.

— А я не знаю. — Она совсем потерялась, смотрела в пол и теребила края юбки.

— Вы что, поссорились?

— Да вроде бы нет.

Я видел, что теряю время. Она ничего мне не расскажет. Тогда я задал вопрос:

— Вы дошли в ваших отношениях с Рустиком до конца?

— Как это?

— Вы спите друг с другом? — прямо спросил я её.

— Нет, — смутилась она и густо покраснела.

Потом я узнал, что она сказала мне неправду.

Несмотря на поздний час, мне разрешили пройти в палату интенсивной терапии. Рустик лежал один. Он был удивительно спокоен и даже как-то безразличен. Я взял стул и присел к его больничной кровати. Минуту я сидел молча, разглядывая его.

— Зачем ты это сделал, Рустик? — спросил я его как давнего знакомого.

Он безучастно молчал.

— Ты хотел убить мать, свою девушку? — пытал я.

Он молча закрыл глаза с видом человека, который не желает разговаривать, и погрузился в безразличный покой. Я стал говорить ему общепринятые слова о том, что нет большего греха, чем самоубийство, что жизнь человека дается Богом и Им забирается, что самоубийца умирает дважды, сначала телом, а потом он умирает душой и так далее.

Мне казалось, что он слышит и все понимает и уже раскаивается в своем поступке.

Как я ошибался! Моя самонадеянность была причиной последующих событий. Человек может быть обольщен собой. Он, как правило, всегда обольщен собой, потому что думает только о себе, о своем состоянии, о своем самочувствии, о своих словах, о своих делах и свершениях. Но никогда не задумается о том, что в этот момент думает, переживает, хочет доверительно сказать что-то тот, другой.

— Я сейчас почитаю чинопоследование Таинства исповеди, хорошо? А ты попроси Бога простить тебе этот грех. — Я сказал это с уверенностью, будто мы уже оба признали его

ошибку, теперь только надо это засвидетельствовать перед Богом.

— Да, хорошо, — спокойно произнес Рустик.

Я облачился в епитрахиль и поручи и начал молиться, постоянно поглядывая на него, потому что все эти молитвы за двадцать лет выучил наизусть. Но у него не было искреннего, слезного раскаяния в совершенном поступке, он продолжал оставаться спокойным. Видимо, его не отпускали эмоции, которые и привели к трагическому поступку. Я же по своей неопытности думал по-другому. «Значит, — размышлял критически я, — это состояние уже позади, он успокоился тем, что все хорошо закончилось». Я накрыл его лицо епитрахилью и попросил каяться. Он молчал.

— Рустик, надо раскаяться, — настаивал я.

Он продолжал упорно молчать.

— Повторяй за мной, — вздохнул я и добавил: — я помогу тебе.

Время было позднее, и мне хотелось домой.

— Господи, прости меня за этот грех попытки самоубийства.

— Господи, прости меня за этот грех попытки самоубийства.

— Господи, прости, что я мог убить свою маму.

— Господи, прости, что я мог убить свою маму.

— Его голос едва был слышен под епитрахилью.

— Господи, прости, что я чуть не убил своим поступком свою девушку.

— Господи, прости, что я чуть не убил своим поступком свою девушку.

— Раскаиваюсь в этом страшном поступке.

— Раскаиваюсь в этом страшном поступке.

— И обещаю никогда подобного не повторять.

— И обещаю никогда подобного не повторять.

Я с сознанием выполненного долга прочитал над ним молитву.

— Рустик, когда тебя отпустят из больницы, ты должен сразу прийти в храм на полноценную исповедь. Приходите вместе с Машей. Хорошо?

— Хорошо.

— Она, кстати, сидит там внизу и переживает за тебя.

— Я знаю, — так же безразлично ответил он.

— Ну что, до встречи.

— До свидания.

Я вышел из палаты. Время было позднее. Чувствовал усталость и какую-то необъяснимую тревогу. Хотелось спать.

Через три дня они пришли на исповедь. Я вглядывался в него. Румянец не проявлялся на его лице. Казалось, он не испытывал никаких чувств, по-прежнему был безразлично спокоен.

— Вы живете с Машей как муж и жена? — спросил я Рустика, накрыв епитрахилью.

— Да, живем, — глухо ответил он.

— Она мне сказала обратное.

— Она вас застеснялась.

— Но она не могла соврать священнику?

— Она этого не понимает.

— Мама знает об этом?

— О чем?

— Ну, что вы близки.

— Знает.

— Так надо жениться! — воскликнул я и начал искать глазами его маму.

— Мама хочет, чтобы я закончил учебу.

— Разве нельзя быть женатым и учиться?

— Не знаю.

— Это что было, ревность?

— Да, ревность.

— Ты не первый у нее?

— Нет.

Я помолчал. Сидит это в ментальности русского мужика — быть первым и единственным, в противном случае он будет всю жизнь презирать жену и издеваться над ней.

— Любишь Машу?

— Да, люблю.

— Знаешь, — сказал я Рустика, но сразу почувствовал, что вряд ли буду услышан, — надо любить человека не для себя, а для него. Когда любишь для себя, это деспотизм любви. Тебе кажется, что ты любишь другого, а всего требуешь для себя. Потому что хочешь, чтобы другой тебя любил, тебе давал ласку, тебя слушался, тебе во всем подчинялся. Это значит любить для себя, понимаешь?

— Как это? — оторопело спросил он.

— Ну как?! Любить по-настоящему, это когда в ответ на сказанные тебе слова: «Знаешь, я уйду к другому» ты спросишь: «Уходишь, потому что любишь по-настоящему? А тебе с ним будет хорошо, ты будешь счастлива?» Она ответит: «Да, будет хорошо, я буду счастлива». — «Если тебе там будет хорошо и ты будешь счастлива, я отпускаю тебя, потому что я люблю тебя». Любить надо в свободе человека. Понимаешь, Рустик?

Он молчал, соображая.

— Ты сможешь так любить, чтобы ничего не требовать от Маши, а доверять ей и не нарушать ее свободу?

— Я не знаю. Я не понимаю всего этого. Я просто хочу, чтобы она была рядом со мной. Чтобы никто не стоял между нами.

— Мы живем среди людей. Кто-то может посмотреть на неё, быть рядом с ней на работе, разговаривать. Ты же не сможешь изолировать её от мира, от людей? Но самое главное заключается в том, что человек свободен. Каждый человек. Твоя Мария тоже. Сейчас она выбрала тебя. Но ты должен быть готов к тому, что она может выбрать и другого. И это касается любых отношений между людьми. Не только любви, но и дружбы.

Я увидел, как он побледнел. Казалось, что он теряет сознание. Я оглянулся, ища глазами мальчишку-алтарника. Увидев его, показал жестом, что нужна святая вода.

— А куда же Бог смотрит, когда дает любовь? — болезненно, взволнованно спросил Рустик.

— На вас и смотрит.

Я протянул ему воду.

— Рустик, попей воды.

Он механически проглотил глоток, потом другой.

— Посмотри на меня.

Я налил воду в свою ладонь и плеснул ему в его побледневшее лицо. Он вздрогнул.

— Бог смотрит и ждет, как человек его любовью распорядится.

— Повенчайте нас, батюшка, — шепотом проговорил Рустик. — Может быть, Бог еще не видит её рядом со мной? — Он наклонился к самому кресту. — Повенчайте нас скорее.

— Я повенчаю, только вы это должны решить вместе с родителями.

— Да, я должен решить, что мне делать с божьей любовью, — как будто говоря сам с собой, произнёс Рустик.

— Понимаешь, Рустик, Бог ждет от человека такой любви, которая может дать другому человеку счастье, несмотря ни на что. Хороший человек перед тобой или плохой — это совсем не важно. Именно так мать любит своего ребенка, независимо от того, совершает он преступление или делает добро, радуется он её или огорчает. Она любит его и желает ему счастья. Она может сказать ему: «Какой бы ты выбор ни сделал, я все приму. Только бы ты был

счастливым». Вот именно такую любовь Бог хочет видеть у человека. Помнишь, у Пушкина: «Как дай вам Бог любимой быть другим». Это очень точно. Надо любить вот этой возвышенной любовью. Это великая мудрость — любить человека в свободе. Уметь отпустить, а самому оставаться спокойным, даже радостным и счастливым. Потому что человек-то, которого ты любишь, счастлив. Понимаешь, Рустик?

Рустик молчал.

— Ты подумаешь над этим? Я хочу, чтобы ты подумал и сказал мне ответ. Ты придешь в четверг, через два дня. Мы еще побеседуем. А в пятницу, если не будет препятствий, повенчаю вас.

— Хорошо, я приду, только не забудьте нас обвенчать.

Он наклонил голову к кресту и Евангелию. Я осторожно накрыл его епитрахилью, прикоснулся к его теплой голове и, наклонившись, участливо произнес над ним разрешательную молитву. Когда он стеснительно, боком отходил от меня, я думал: «Что он, девятнадцатилетний юноша, мог понять из моих взрослых рассуждений о любви?»

Но у нас еще будет время для разговора, в четверг, — успокаивал я себя.

Подошла Маша. Во время нашего разговора с Рустиком она исподлобья смотрела на меня и проводила ладонями сверху вниз по своей юбке. Встала, вся скукожившись, наклонила плечи вперед.

— Ты понимаешь, что вы одно целое теперь, потому что у вас кровная связь. Куда он, туда и ты. Куда иголочка, туда и ниточка — так в народе говорят. Ты понимаешь это? Ты не должна давать повод тебя ревновать, а ты, видимо, делаешь это, а ведь ты взрослее его, ты опытнее. Ты понимаешь это?

— Угу, — она затрясла головой.

Она понимала, о чем я ей говорил. Она догадалась, что я знаю об их близости. Раскрывшаяся лож заставляла её краснеть.

— Расскажи, как он тебя заревновал?

— Ну, я работаю на птицефабрике. У меня бывают ночные смены. И вот в тот вечер, вернее уже ночью, он мне звонит и требует: приходи домой. А я ему отвечаю, что не могу — это же работа. А он говорит, что если я не приду, то он что-нибудь с собой сделает. Вот.

— И ты не пошла?

— Ну а как я пойду с работы? — Маша взглянула на меня, ища сочувствия.

— А почему он попросил тебя об этом?

— Он однажды вечером пришел ко мне, а со мной рядом был парень, он наладчиком работает, на линии. И он подумал, что у меня с ним что-то есть. Что только я ему не говорила! А он уперся — и все. И вот как ночная смена, он с ума сходит. Начинает дуться сначала, не разговаривает уже за два дня.

— Маша, — я тихим голосом обратился к ней, — ты его любишь?

— Да, люблю.

— Уйди с этой работы.

— Да как я уйду? Меня через два месяца переведут с конвейера в контролеры.

«Предел мечтаний глупой девчонки», — подумал я.

— Маша, постарайся понять то, что я тебе сказал. Ты можешь потерять Рустика.

— Я уже хотела уходить, а мне мать говорит: даже и не думай. В контролерах хорошо платят.

Я вздохнул. Она меня не слышит. И, пожалуй, не услышит пока. Сдерживая раздражение, я накрыл ее голову.

— Покайся в своих грехах.

Она говорила тягуче, без раскаянья, читая выписанные грехи из книжки, которые сейчас издают пачками, как будто хотят научить людей грехам, которые они еще не знают и слыхом о них не слыхивали. Доходят в описании этих грехов до самых постыдных, срамных подробностей. И это пишут священники, монахи.

Когда она закончила, я прочитал слова молитвы. Она приложилась к кресту и Евангелию, а я наблюдал за ней, долго смотрел ей в глаза. Она не могла отойти от меня. А я вглядывался в неё, пытаясь преодолеть холодную непроницаемую стену, которой она отгородилась. Я понимал, что слов недостаточно. Тут нужно действие. И я действовал, я смотрел в её глаза. Она начала испытывать неловкость.

— Я могу идти? — растерявшись, спросила она.

— Оставь работу ради любви.

— Ладно, — вяло, безвольно выговорила она.

— В четверг приходи вместе с Рустиком.

— Хорошо.

Я вошел в алтарь, приложился к престолу и сел на табуретку.

Мы, священники, думаем, что имеем власть над современными людьми. Что мы сакральные существа, слова и наставления которых воспринимаются как руководство к жизни. И вот это обольщение властью порой ослепляет нас, делает близорукими. Мы склонны думать, что поставлены быть отцами по статусу своего положения. Но отцовство следует заслужить аскетическим подвигом и страданием. Послушание отцовству не по статусу положения, а по существу складывается из доверия людей к человеку, посвятившему свою жизнь служению. Тогда возникает желание подчиниться, как подчиняются любви, красоте, добру. Раб — это не обидное слово. В библейском смысле раб — это человек, который по любви отдает свою волю в руки другого человека или Бога. Мы, получившие власть не по наследству, а по достоинству сынов божиих, узурпировали её, отождествившись с ней только внешне. Внутренне же мы далеки от нее. Мы наряжаемся в дорогие красивые одежды, мы получаем награды, мы любим производить впечатление на людей своим избранничеством и пустыми речами. Мы привязаны к дорогим машинам и вещам. Мы любим угощения и подарки. Мы подобны раскрашенным гробам, внутри которых нет настоящей жизни. И мы думаем, что имеем влияние на людей?!

В четверг они не пришли.

А вечером, в восьмом часу, зазвонил телефон. Голос Татьяны прерывался порывами ветра.

— Батюшка, помолитесь. Нам позвонила Маша. Рустик там сейчас при ней вешается. Ее оттолкнул, снял ремень, влез на дерево и вешается. Мы сбились с ног, ищем, где они, и никак не можем найти. О, Господи, батюшка, помолитесь.

Трубка отключилась внезапно. Я стоял и не верил в реальность происходящего. Взял акафист Святителю Николаю, встал на колени и начал молитву.

Через полчаса позвонила Татьяна.

— Батюшка, мы их нашли. Мужчины срезали ремешок, но было уже поздно. Нету больше нашего Рустика, — она заголосила и отключила телефон.

Рустика отпели и похоронили. Две семьи объединило горе. Маша в черном платке сорок дней вместе с Татьяной не выходила из

храма. Вела себя тихо, смиренно. Каялась, молилась. А через сорок дней написала записку родным и выпила упаковку таблеток. Ее спасли и поместили в психиатрическую клинику.

— Врач поставил диагноз — шизофрения, — рассказывала вся почерневшая от горя Татьяна, — и он сказал, что никакой ошибки нет. И еще мы узнали, что родной отец Маши повесился, представляете, батюшка.

«Черт через Марию напал на мальчика, уязвленного любовью», — подумал я.

— В нашей семье ничего не знали об этом. Нам никто не сказал, — она горько плакала.

После этого Татьяна долго не приходила в церковь и ко мне относилась недоверчиво.

Почему Рустика не поместили в психиатрическую больницу? Этот вопрос я постоянно задаю сам себе. Может быть, потому, что вмешались деньги. В больнице его быстро промыли, прокапали и выписали, не сообщив о случившемся в специальную службу, и таким образом не исполнились врачебные инструкции.

А какие инструкции должен был исполнить я?

Знакомство с Илюшей

У храма меня ждала Татьяна Алексеевна. Доктор физико-математических наук. Человек замечательный во многих отношениях. В её роду были знаменитые предки. По материнской линии она была Бакунина и являлась прямым потомком знаменитого анархиста Михаила Александровича Бакунина, друга Герцена и Кропоткина. По отцу она носила фамилию Плясова. Это был род знаменитых, очень талантливых врачей, врачей от бога. Татьяна Алексеевна очень гордилась своим происхождением и знаменитыми предками, особенно известным на весь мир анархистом.

Во всем её облике чувствовалась порода. Лицом, за которым она очень ухаживала, она походила на Татьяну Самойлову, гениальную русскую актрису, сыгравшую в фильме «Летят журавли» и удостоившуюся представлять Советский Союз на кинофестивале в Каннах, где она, единственная из русских актрис, оставила отпечаток своей ладошки на знаменитой Аллее славы. Манеры Татьяны Алексеевны были подчеркнута благородными.

Пятнадцать лет назад Плясова-Бакунина вышла замуж за американца Джека Эндвортона, профессора университета Бёркли.

Профессор, будучи старше её на двадцать два года, был человеком обеспеченным, что в её положении было важным обстоятельством. Наконец она смогла помочь своей сестре Ольге Алексеевне и своему брату-близнецу Александру, которые жили в нашем городе.

— Джек принял крещение с именем Дмитрий, и нас повенчал отец Николос в Порт-Таунсоне, в американской церкви, — рассказывала мне Татьяна Алексеевна. — Я хотела быть связана узами брака, освященного Богом. Я должна нести послушание служить своему мужу, я всю жизнь об этом мечтала.

Правда, Татьяна Алексеевна была уже несколько раз замужем. От первого брака она имела дочь, которая раньше матери уехала в Америку, выйдя замуж за бывшего военного офицера, который тоже был старше её.

— Джек говорит по-русски? — спрашивал я Татьяну Алексеевну.

— Джек по-русски знает только одну фразу: «Я безумно люблю Татьяну». Но этого вполне достаточно, не правда ли?

Татьяна Алексеевна поклонилась мне издалека и ждала, пока я переговорил с Тихоном о предстоящей работе, благословил пожилых прихожанок, складывающих сваленный как попало кирпич, и пошел навстречу американке.

— Какой замечательный получается наш храм, батюшка, — радостно улыбаясь, говорила Татьяна Алексеевна. — Я не была год, вы значительно продвинулись.

— Стараемся как только можем. Видите, всем миром работаем.

— А я привезла вам американских долларов.

— Это хорошо, деньги нам нужны, — весело отреагировал я.

Мы вошли в нижний храм, который был пуст, я включил свет. Она села за столик, открыла сумочку, достала деньги и аккуратно, купюра к купюре, стала раскладывать их, как игральные карты, на стопочки — по тысяче. Получилось пять стопок.

— Здесь пять тысяч американских долларов на строительство нашего храма, — торжественно произнесла Татьяна Алексеевна. — Ког-

да будете золотить купола, а они должны быть обязательно золотыми, я пожертвую свое кольцо.

— Ах, если бы все люди так любили церковь и жертвовали свою лепту! — смутившись, произнес я.

— Знаете, — доверительно сказала Татьяна Алексеевна, — в этом году на день рождения Джек утром преподнес мне двадцать восемь долларов и сказал, что это его подарок. Вот так американские мужья оценивают своих русских жен. Надеюсь, вы понимаете?

— А вы жертвуете безумные деньги?! — восторженно проговорил я.

— Здесь, на этой земле, похоронены мои предки. Здесь и я хочу быть отпета и похоронена, рядом с ними. Помните, как состоялось наше знакомство? Я приехала за вами на машине, и вы отпевали нашу маму.

— Да, я это очень хорошо помню. Когда я узнал, что вы ученый человек, то задал вам провокационный вопрос об архаичности обрядов церкви. А вы мне тогда ответили словами из завещания, которое вашей семье оставил ваш дед, знаменитый на всю округу врач. Я дословно помню эту фразу. «Похороните меня по церковному чину с отпеванием. По-другому хоронят только животных и собак». Это врезалось в память. Точно сказано, — и прибавил: — Совсем недавно пришел в дом в частном секторе. Меня пригласили освятить его. Хозяйка — женщина, дом старый. Спрашиваю: «Что же вы никогда дом ваш не освящали?» «Нет, батюшка, не освящали, — отвечает она мне, — вошли, как скотина, и так живем».

— Как точно и остроумно выражается русский народ, — заметила Татьяна Алексеевна и перешла на заговорщицкий тон: — Но у меня к вам важное дело. Не благословите ли вы меня поехать к доктору?

— Вы что, заболели?

— Не то чтобы я заболела, — загадочно ответила она, — мне нужно кое-что поправить в лице, а церковь, я знаю, противница подобных действий. Вот не могли бы вы меня благословить?

Желание не стареть, выглядеть моложе было столь сильным в Татьяне Алексеевне, что у меня не оставалось выбора. Я знал, что она в свои

шестьдесят семь лет продолжает играть в большой теннис. Мне лишь нужно было придумать мотивацию своего благословения.

— Конечно, Богу важна внутренняя красота, которая проявляется и во внешности человека, в его взгляде, в его манере говорить. Внутреннее содержание важнее внешнего. Но когда внутреннее уже готово к совершенству, а внешнее немножечко отстает, то я думаю, что можно и вмешаться. Только, знаете, к опытному ли специалисту вы обращаетесь? Не навредит ли он? Почему бы вам не сделать то же самое в Америке?

— Что вы! — воскликнула Татьяна Алексеевна. — В Америке это все стоит бешеных денег. Я приезжаю сюда, потому что здесь можно сделать за копейки. То же самое и с зубами. Там не подступиться.

— Бог благословит, — громко произнес я и широко перекрестил Татьяну Алексеевну.

Она была очень довольна.

Мы простились, троекратно поцеловавшись друг с другом.

Я пришел в алтарь, приложился к святому Престолу, сделав три земных поклона, взял с Жертвенника дароносицу со святыми Дарами и отправился в больницу к Илюше. Мне предстояло встретиться с больным мальчиком и его матерью. Я должен был войти туда, куда пускают только близких, родных людей и принести в этот воцарившийся мрак страдания присутствие Божье через свой облик, через слово, через любовь и заботу, принести надежду. Такова участь таинства священства. Быть другом Христа, который открыл тебе тайны жизни и дал меру неоскудевающей благодати, которой ты обещал делиться со всеми «труждающимися и обремененными». Прикасаясь к людям и отдавая им часть Христовой любви, мы делаем их церковью. Тем собранием людей, которое есть тело Христово. И каждый причастник получает свою часть в этом теле. «Ядый мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем», — говорит сам божественный Учитель. И эта тайна связывает, собирает в некое единство народное сознание, создавая симфонию жизни. «Да единомыслием исповемы!» — восклицает церковь, совершая Евхаристический канон. В полифонии голосов мы должны услышать гармоническое единство, ведущее нас к тому, о чём сказал вели-

кий писатель Федор Михайлович Достоевский: «Красота Христова мир спасет». Это он мечтал, чтобы государство стало церковью, чтобы люди жили не в законе, а в благодати, основанной на принципах жертвенной, христовой любви.

На первом рубеже собирания народа в духовное единство стоим мы, священники. Что нужно для того, чтобы разрушить, уничтожить единство церкви, единство народа? Нужно дискредитировать священников, чтобы народ перестал доверять тайне священства.

Я помнил это отделение в больнице со страшным названием «Гематология». В нашей семье, у моей сестры, болел и умер в младенчестве ребенок, мальчик Даниил. Мы все боролись за его жизнь, но она оборвалась. Прошло много лет, но память возвратила меня в те роковые дни.

Детское отделение больницы жило своей жизнью. Как известно, дети везде одинаковы. Они играют и веселятся, не думая об опасности, которая угрожает их жизни. Неопытность является этому виной, а может быть, и не виной, а счастьем. Жить и веселиться, не думая о прошлом и ничего не зная о будущем. Жить и радоваться сейчас, в эту самую минуту текущей и никогда не останавливающейся жизни. Взрослые уже разучились быть счастливыми. Они устремляются в будущее, строят планы, подготавливают его, мечтают о нем. Но когда оно наступает, они разочаровываются. Потому что то, что они получают, не соответствует их мечтам. И они думают о новом будущем, что оно будет другим, более счастливым. Но они опять ошибаются. И вот когда они устают ждать счастья впереди, они начинают думать о прошлом и жить прошлым. Взрослые никогда не живут настоящим, как это умеют делать дети.

Я поднялся на второй этаж больницы и оказался перед дверью со стеклами, которые были окрашены белой краской. Над дверью была вывеска: «Отделение гематологии». Я ухватился за металлическую ручку, потянул за нее, и дверь открылась. Послышался детский смех и движение. В коридоре играли дети. Увидев человека в священнических одеждах, они остановились и замерли. Я поклонился им и прошел на пост к медицинской сестре. Это была довольно взрослая женщина лет пятидесяти,

полноватая, в белом халате и цилиндрическом колпаке. Она почему-то была скорее похожа на повара, чем на медсестру.

— Я пришел помолиться к мальчику Илье, который лежит здесь со своей мамой Наталией.

— Пройдите по коридору до самого конца, — приветливо объяснила мне дежурная сестра, — последняя дверь справа.

Я поблагодарил и пошел по коридору. Дети последовали за мной.

— А вы к кому? — спросил меня шустрый мальчик в цветной пижаме.

— К одному маленькому больному человеку, — ответил я.

— Он к Илюше, — крикнула девочка, — в изолятор.

Мы подошли к двери, и я постучал. Дверь открыла Наталия. Лицо ее было опухшим, уставшим.

— Заходите, он вас ждет, — она пропустила меня, закрыв дверь прямо перед лицом шустрого мальчика, — я ему про вас рассказала. Илюша, — громко и весело произнесла она, — батюшка пришел.

Палата была просторной, в два окна. Между окнами стоял раскладной диван, а в глубине — белая кровать, на которой сидел, свесив маленькие худенькие голые ножки, мальчик. Он несколько секунд посмотрел на меня серьезными темными глазами и затем стал рассматривать собственные пальчики, перебирая ими на закрытых простыней коленях. Он был большеголовый и совершенно лысый. Рядом с кроватью стояла капельница с полным пузырьком лекарства и свисала трубочка с иглой. Под ключицей мальчика, заклеенный пластырем, свисал катетер.

— Здравствуй, Илюша, — тихо поприветствовал я его.

Он молчал и все перебирал свои пальчики.

— Илюша, поздоровайся с батюшкой. Он тебе больно не сделает. Он помолится, и ты выздоровеешь, — Наташа приговаривала, а сама одевала на него носочки.

— Будем молиться, Илюша? — серьезно спросил я его.

— Будем, — твердо ответил мальчик.

— Вот хорошо. Боженька нас услышит, — я готовил епитрахиль, поручи, облачался и на

тумбочке зажигал свечи. — Наташа, я вас пособую вместе, хорошо?

— Хорошо, а мне надо повязать платок?

— Да, надо платок на голову.

Платка не было, и Наталия повязала на голову полотенце.

— Ничего так?

— Пойдет, — согласился я.

Илюша наблюдал за моими приготовлениями.

— Ну, — сказал я, обращаясь к нему, — давай молиться?

— Давай, — серьезно ответил он.

И мы начали творить таинство. Наташа истово крестилась, слезы текли по её щекам, а Илюша во все продолжение таинства был сосредоточен и серьезен.

Во время молитвы в дверь заглянула процедурная сестра, но, спохватившись, сказала:

— Потом зайду, — и вышла, осторожно прикрыв дверь.

Я помазывал Илюшу маслом. Он, как большой, помогал мне, подставляя ладошки.

Я произносил слова молитвы, а сам думал: «Вот они, эти слова чудотворения, обращенные к Богу. Эти же самые слова таинства произносили великие молитвенники, великие святые Серафим и Сергей, Александр Свирский и митрополит Алексей Московский, и совершалось чудо. Двигалось пространство, Господь входил в своё творение и действовал державно. Животворилась плоть, менялся состав крови, и человек исцелялся. И я, священник, произношу эти же самые слова молитвы. Господи, подай мне силу твою. Ту силу, которую ты подавал преподобным твоим, и они исцеляли страждущих. Мне вдруг стало страшно при мысли от того, что я имею те же инструменты для исцеления, но не умею ими пользоваться. Что слова таинства, которые прямо говорят об исцелении, в моих устах окажутся пустыми, недейственными. Но сегодня этого не должно произойти. Передо мною неутешная мать и её маленький ребенок, одержимый страшной болезнью. Господи, помоги, пошли Твою животворящую благодать. Сотвори меня настоящим, а не мнимым проводником твоей исцеляющей силы. Иначе зачем священник? В обыкновенных случаях, когда нет угрозы жизни, могут помолиться простые люди, родные и близкие. И мы, священники, совершая

молитвы в таких случаях, прячемся за милость Божью и за снисходительность и великодушные людей. Бог не дает нам урока, который мы не сможем выучить. Но когда ты оказываешься перед настоящим испытанием и видишь страдание, исходящее от подлинной угрозы, ты должен прийти божественным присутствием и совершить чудо. Поднять с одра болезни младенца, мужчину или женщину, которых связал сатана. Иначе зачем ты нужен, священник?! Твое бодрствование в духе — это твоя жизнь в том таинстве, в которое ты призван Богом и его благодатью. Иначе ты несостоятелен».

— Хочу лечь, — тихо сказал Илюша.

Я кивнул Наталии и отступил от кровати. Она укладывала его молча, укрывая ножки простынкой. Бледность лица ребенка указывала на усталость. Мальчик закрыл глаза. Кажется, что он спит.

Надо было сокращать таинство. Я помазал его в пятый раз и прочел заключительную молитву.

— Завтра утром приеду причастить Илюшу, — шепотом сказал я матери.

— Ладно, — она шла за мной к двери. Остановившись, она спросила:

— Как он, батюшка?

— У вас удивительно взрослый ребенок. Он мне напомнил маленького мудреца, — я взял ее за руку, — Наталия, буду молиться, сугубо молиться, и вы молитесь. Молитва матери ни в огне не горит, ни в воде не тонет.

— Он поправится?

— Поправится.

Я вышел на улицу и глубоко вдохнул прохладный весенний воздух, наполненный влагой и запахами просыпающейся земли.

Вера

Набегал ветер, покачивал голые ветки кустов. Клумбы темнели маслянистым черноземом. Пройдет какая-нибудь неделя, и на кустах проклонутся почки, а на клумбах зазеленеют и зацветут первые весенние цветы. Вся земля наполнится новой жизнью. И Илюша родился, чтобы жить и быть счастливым. Я вспомнил, как болел наш мальчик Даниил. Болезнь появилась в самом раннем младенчестве, и вся эта маленькая, хрупкая жизнь была одним страданием. Я

тогда думал, что нет никакой справедливости в том, что мучается ребенок. Что вся его жизнь есть беспросветное страдание и боль и что он никогда не чувствует себя радостным и довольным. Он не знает жизни без боли. Он думает, что та жизнь, которой он живет, это и есть жизнь, что жизнь и страдание — это одно и то же. Я спрашивал себя, зачем родился этот мальчик, если Бог сотворил этот мир для радости и счастья. Смеются дети, цветут цветы, светит солнце, в кронах деревьев щебечут птицы, и Творец, созерцая эту гармонию жизни, наслаждается красотой Своего творения. Нет, не наслаждается! Потому что в это же самое время в больничной палате умирает маленький мальчик и никто ничего не может сделать, чтобы он не умирал. Бог не может не видеть этого! Но если он видит, почему тогда Он не восстановит утраченную гармонию жизни, над которой довлеет разрушение и смерть? Почему? Или, может быть, он не видит, упиваясь Своим творением, гармонией и довольством? А эта маленькая трепетная жизнь всего лишь незначительная черточка в этом необъятном многообразии большой жизни?!

Я помнил, как Даниила всего лишь за несколько часов до его блаженной кончины на скорой привезли умирать домой. Бледного, совершенно бескровного мальчика внесли в комнату и положили на взрослую кровать. Его отец, большой сильный человек, заперся с ним в комнате и попросил, чтобы никто не входил. Он всё приговаривал:

— Как же ты меня подвел, Данилка.

Мы все сидели или стояли под дверью. Мать была как в бреду. Все эти два с половиной года она неразлучно находилась со своим больным сыном, а теперь муж попросил её оставить его одного с её мальчиком. Тянулось время, тягучее и страшное, а потом мы услышали громкие рыдания отца и вошли в комнату...

Навстречу мне шла женщина. Поравнявшись со мной на узком тротуаре, она остановилась и окликнула меня. Я обернулся. Это была молодая девушка. Лицо её мне показалось знакомым.

— Отец Евгений, это вы?

Я остановился.

— Да, а вы кто?

— Вы меня не помните?

Я оказался в ситуации, которая в последние лет десять повторялась часто. Я помнил лицо, но не помнил, при каких обстоятельствах мы встречались. Эту забывчивость я относил к своей священнической деятельности. С самого детства я обладал фотографической памятью. Стоило мне один раз увидеть человека, я уже никогда не мог забыть его и тех обстоятельств, при которых с ним столкнулся. Но когда я начал служить и исповедовать людей, вникая в их жизнь, переживая их горести и радости, я как-то потерялся. Их оказалось слишком много в моей жизни. Постепенно люди в моей памяти обезличились. Особенно эта обезличенность проявлялась вне церкви, на улице. В церкви же, это я давно отметил, человек открывался мне. Я узнавал его и вспоминал все то, что он мне рассказывал о себе и своей жизни. Вне церкви я многих не мог вспомнить и часто, чтобы не обидеть человека, разговаривал с ним как с давно знакомым.

— Как вы поживаете? — спросил я девушку, которая внимательно рассматривала меня. — Как учеба?

— Летом получила диплом. Красный, представляете? — она радостно улыбалась. — Теперь ищу работу.

— Вы молодец, порадовали своих родителей.

— Да, жаль только, папа никогда не узнает об этом.

— Простите меня.

— Ничего, — смущенно опустив глаза, произнесла девушка, — но мама сказала: Вера, я тобой горжусь, если бы папа дожил до этой минуты, он бы был счастлив.

В её девичьем лице, особенно в глазах, таилось много страдания. Оно проявлялось в глубине взгляда темных глаз. Состояние это было мимолетным, но его нельзя было не запомнить. «Человек может быть красив только страданием», — промелькнуло у меня в голове. Но в следующую секунду она уже улыбалась. Её молодое лицо светилось радостью.

— Как удивительно, что я вас встретила. Я всегда помнила о вас и всегда хотела прийти к вам.

— И что же вы не приходили, Вера?

— Я боялась, — она весело засмеялась, — хотя я приходила, только вы меня не видели.

Вдруг меня осенила мысль.

— Вера, вы мне нужны для одного важного

дела. Я задумал кое-что написать. Впрочем, я уже пишу. Работа большая, и мне нужна помощница, чтобы разбирать мой почерк и перепечатывать материал на компьютере. Вы не согласитесь мне помочь в этом? — говорил я, а сам смотрел в её лицо.

Она в радостном удивлении, казалось, не веря своему счастью, ждала секунды, когда я закончу свою речь.

— Я согласна, согласна. Когда приступить?

— Вера, конечно, это работа, и она должна быть оплачена, как любая другая работа.

— Я совершенно свободна, и никакой оплаты мне не нужно от вас. Тем более, это будет интересно. Потому что я думаю, что вы пишете даже более красиво, чем говорите. А говорите вы несравненно прекрасно.

Разговор был недолгим.

— Вы торопитесь? — спросил я.

— Я иду проведать племянницу, но хотите, я вас провожу до машины?

Я согласился.

— А вы к кому приходили? Причащали кого-нибудь?

— Да, Вера, соборовал и причащал молодую мать с младенцем.

— Почему болеют дети? — с состраданием и жалостью спросила Вера. — Они же ни в чем не виноваты?

— Видимо, мир несовершенен, Вера, — я остановился, — и люди, особенно люди, несовершенны.

— От людей идет зло, — подсказывала мне Вера.

— Да, вы правильно сказали, — я задумался и продолжил: — И самое плохое в этом то, что, распространяясь, зло попадает на безвинных, потому что виновный может себя защитить.

— Виновный злой, виновный сильный.

— Именно так, Вера.

Мы подошли к машине и остановились.

— Но вы уже идите, Вера, вас ждет племянница, — сказал я и спросил: — А что с ней, она заболела?

— Да, у нее весной всегда обострение болезни. После детского коклюша у неё развилась астма.

— Астма? — удивился я. — Но это серьезная болезнь. Ей не хватает воздуха?

— Да, она прямо задыхается, когда случается приступ.

– А сколько ей лет?
 – Девять, она совсем еще ребенок, – ответила Вера.
 – Она скоро будет здорова, – твердо сказал я, – через два года болезнь отступит.
 – Откуда вы знаете? – Вера внимательно смотрела мне в глаза.
 – Переходный возраст все поставит на свое место.
 – Вы так думаете?
 – Я в этом уверен.
 – Ладно, пойду ей об этом скажу.
 – Идите, идите, Вера.
 Она отошла и остановилась, посмотрев на часы.
 – Когда я приступлю к работе? – громко спросила она.
 – А когда вы придете в церковь?
 – Завтра.
 – Хорошо. Я подготовлю листочки.
 – Обязательно принесите.
 – До свидания, Вера.
 – До свидания, – радостно сказала Вера и побежала.

Я ехал в машине. Усталости не было. Я вспоминал Веру и думал о том, как хорошо, что я встретил эту девушку, полную энергии и сил, светлую, настоящую. Она была студенткой филологического факультета педагогического университета, а я тогда читал лекции на тему «Духовный человек». Я подумал об отце Владиславе, с которым мы служили несколько лет в кафедральном соборе. Это был человек с музыкальным образованием. Он окончил училище по классу фортепиано. Прекрасно исполнял классику и сам сочинял музыку. Умел ценить искусство и наслаждаться им.

У нас было много общего в восприятии жизни. Я часто делился с ним мыслями о прочитанных книгах, просмотренных фильмах. Это был образованный священник, интеллигентный, культурный человек. Мы служили как проклятые, имея «ревность не по разуму». Первые четыре года я не знал отдыха и отпусков. Мы служили каждый день, кроме понедельника, если в понедельник не попадал праздник. Он был служащим одну неделю, я был требным священником. Потом, на следующей неделе,

мы менялись. И это длилось годы. До момента, когда я на четыре месяца оказался в больнице. Ослабла мышца сердца. После встречи с Верой я вспомнил трогательные минуты, когда я приходил с исповеди в алтарь и потихоньку, но восторженно говорил отцу Владиславу:

– Можно дальше жить, можно дальше служить, какую удивительную душу я встретил!

– Я вас поздравляю, батюшка, – весело отвечал мне отец Владислав.

Это состояние повторилось сегодня, но мне не с кем было поделиться своей радостью. И другое чувство примешивалось к моей радости. Я нес в своём сознании образ Илюши, его трепетную, незащищенную душу. Мне надо вымолить этого младенца, вырвать его из рук Дьявола. Но чтобы это сделать, надо быть сильным и чистым.

В начале девяностых, когда народ ринулся в церковь, приходилось исповедовать тысячи людей. Народ был измучен отсутствием свободы и страхом перед коммунистической партией. Страх сидел внутри, передавался генетически. Народ был растерян, придавлен. Он хотел другой жизни, он хотел свободы. Он надеялся в церкви, которая была для него загадкой, непонятой, неузнанной, распятой церкви, встретить покой и новый идеал человека. Народ потерял самостоятельность, потому что привык жить и действовать по подсказке центрального комитета партии. Когда я смотрел на него, стоя посередине полутемного храма, словно посередине моря житейского, в дни Великих Родительских суббот, на меня наваливалось чувство скорби. Народ молился за умерших, замученных и убиенных, без вести пропавших, погибших. Он молился за похороненных и не отпетых по церковному чину русских, изменивших православию и своей церкви по всей необъятной земле Российской, сгинувших в двадцатом кровопролитном веке. Он стоял растерянный, уставший, грустный, обманутый и обездоленный.

В конце службы диакон возглашал вечную память всем от века почившим. И поднималась волна в этом соленом от слез море, и катилась по всей церкви, выражая боль, тоску, разочарование и жалость к тем, кто никогда не увидит новой, свободной России.

Документ эпохи

Мой дорогой мальчик! Моя задача — оставить документ эпохи, документ о нашем времени.

Мы строим из кирпичей, из камня, но мы строим человеческими усилиями, человеческой энергией. Получается красиво. Все радуются. Глазам приятно. Говорят: «Какую красоту смогли создать!»

Храм звучит в пространстве красотой. Это цель. Она достигнута. Людям не важно, преодолением каких препятствий достигнута красота, какое количество усилий вложено в осуществление замысла. Знаешь, это можно сравнить с работой человека, который выполняет сложный и опасный трюк. Логика прямая: чем больше проведено работы, тем легче выполняется трюк.

— Ах, с какой легкостью и как красиво он это делает! — восторгается публика. Но за этой красотой переломы, ушибы, синяки и ссадины. Не только трюкача, а еще тех, кто этот номер некогда придумал. Но цель достигнута.

— Как красиво он это делает!

Недавно русская американка пожертвовала храму пять тысяч долларов. Я истратил эти деньги на покупку кирпича, не предполагая, какое количество клеток кирпича мне доставят с завода, а это была лишь малая часть материала! Машины привозили кирпич несколько дней, и весь церковный двор беспорядочно был заставлен клетками. Из груд кирпича надо было создать эту удивительно красивую форму. Эти линии, бегущие вверх, эти колонны и арки, и эти главки с кокошниками и величественными проемами окон. Весь кирпич, а это, по приблизительным подсчетам, пятьсот тысяч штук, стал этой красотой.

Знаешь, мой дорогой мальчик, в природном камне есть свойство взаимодействовать с человеком. Ты смотришь на него, и он тебя затягивает. Он тебе хочет рассказать «нечто», то, что он содержит. Он хочет поделиться информацией и энергией. Впечатление или ощущение от разных природных камней может быть разное. Искусственный камень отгалкивает, потому что он пустой, без истории. Рассказать нечего. А на уровне энергетики идет даже отторжение. Пустота формы должна быть заполнена содержани-

ем. В природе она заполняется временем и историей. И именно природная форма обладает этим содержанием спрессованной энергии.

В современном мире, при новых технологиях быстро создаются вещи, но отсутствует самое главное — время и история. Поэтому многие вещи звучат зияющей пустотой.

Воин света теснит тьму, он не сражается с ней, он не воюет с ней, он ее теснит. Воин света сражается с тьмой в себе и приращивает свет.

Мы тогда осуществили одну идею. Невеждам она может показаться коммерческим проектом, но для нас она была социальной, духовной. Мы продавали кирпичи. Один кирпич стоил десять рублей. Что можно было купить тогда за 10 рублей? Две буханки хлеба. Это небольшие деньги. Получив десять рублей, мы записывали имя дающего. Потом это имя мы писали на кирпиче, который шел в кладку стен храма. Таким образом было заработано около ста тысяч рублей. Посчитай, мой мальчик, сколько имен написано на кирпичках. Каждое имя — это судьба. Это печали и радости, это страдания и страхи, это болезни и чудо исцеления, это жизнь и это смерть. Я пишу эту историю, историю создания красоты человеческими судьбами. Пресловутая намоленность иконы или храма — это слезы людские. Этим звучат наши камни.

Монахиня Тавифа

Это была женщина среднего возраста. Старшая медицинская сестра в хирургическом отделении больницы. Авторитет у неё был непререкаемый. Хозяйственная и бережливая.

Муж её много лет назад заболел рассеянным склерозом и выглядел «не имея ни вида, ни доброты». Она не оставляла его, заботилась, лечила как могла, при этом уже десять лет имела любовника и разрывалась на две семьи.

Придя в храм в неделю стояния Марии Египетской, она услышала житие подвижницы, которое я читал прихожанам во время службы, и её жизнь перевернулась. Она разорвала отношения с любовником, покаялась в своем эгоизме и принялась воцерковлять мужа, который к тому моменту был даже не крещен. Все таинства я совершал в квартире, где они жили. Я окрестил его, пособоровал, исповедовал, причастил, и,

наконец, она попросила меня повенчать их. Случай был исключительный, и я отправился к архиерею испрашивать благословения совершить таинство венчания на дому. Владыка благословил, услышав трогательную историю.

Наступил день венчания. Я привез с собой венцы, свечи, лучшего вина для таинства (у меня хранилась маленькая бутылочка из Канны Галилейской), мне хотелось им угодить и порадовать их. Лариса Васильевна встретила меня на пороге и пригласила войти. Она выглядела очень нарядной, в красивом облегающем платье и в белом платке. Я облачился в священнические одежды, мы вошли в большую комнату, из которой выходила дверь в спальню, где лежал ее муж. Их сын Олег по моей просьбе подвинул широкое кресло, поставив его посередине комнаты. Ларису Васильевну я попросил встать слева от него.

— Как он себя чувствует? — спросил я невесту.

— Как обычно. Слабый, но в одной поре. Он предупрежден и, кажется, даже рад.

— Хорошо, тогда начнем?

— Давайте, — согласилась она и обратилась к сыну:

— Олег!

Сын вошел в спальню и на руках вынес маленького, с высохшими руками и ногами, согнувшегося от болезни человека. Он посадил его в кресло рядом с его женой. Здоровый вид цветущей женщины еще больше подчеркнул кажущуюся нелепость происходящего. Но Лариса Васильевна имела вид решительный и, казалось, была счастлива. Она только хотела, чтобы скорее все задуманное ею исполнилось. Валентин Петрович пытался перекреститься, но трясущаяся рука его не слушалась.

Глаза Ларисы Васильевны наполнились слезами, отчего она стала ещё красивее.

Я провозгласил: «Благословен Бог наш!» и начал таинство.

Валентин Петрович был серьезен и очень ответствен в самом начале службы, но скоро стал уставать и капризничать. Лариса Васильевна шептала ему, чтобы он потерпел немножко. Она брала его правую руку и прилагала усилие к тому, чтобы донести его растопыренные судорогой пальцы до лба, потом к животу и худеньким обвисшим плечам. Он отвлекался, выполняя эту тяжелую работу, и время шло вмес-

те с молитвами таинства. Я вынужденно сокращал молитвословия, видя, как ему тяжело, а ей неловко. Венец, воздвигнутый на его голове, придавил его еще сильнее, подчеркнув его щуплость. Но делать было нечего, надо было все выполнять по канону. Наконец мы завершили. Я протянул Валентину Петровичу крест для целования. Он с чувством благодарности и за то, что повенчался со своей любимой женой, и за то, что всё наконец закончилось и он может лечь, потянулся к кресту качающейся вверх-вниз головой и ткнулся в него.

Сын стрелб его в охапку, и они скрылись за дверью.

— Дорогой батюшка, я обрелась, что, когда вы все, что я задумала, сделаете, я помогу вам деньгами на строительство храма. — Она полезла в шкаф и подала мне сверток. — Здесь пятьдесят тысяч рублей. Это наша скромная лепта, помолитесь за нас.

Я поблагодарил Ларису Васильевну и уехал. Через восемь дней Валентин Петрович, освобожденный от первородного греха в таинстве крещения и довершив всякую правду, предначертанную Богом для человека, умер.

Я приезжал отпевать Валентина Петровича.

— Он умер невинный, — сказала тихо Лариса Васильевна, — а мне надо молиться о моих грехах.

Вскоре она оставила работу и уехала в Задонский монастырь. Через два года она стала инокиней, а еще через год монахиней Тавифой.

Пастырские искушения

Вечером я готовил ужин. Когда нет поста, Вечеря — самая удобная еда. Готовится быстро, насыщает хорошо. Я думал о сыне, которого еще не было дома. Я думал о маленьком Илюше. Сегодня утром, совершая проскомидию, я вытащил тысячу частиц из просфоры за его исцеление. Пусть простят меня другие прихожане, если я не успел кого-то помянуть. И всю Литургию его образ стоял передо мной. Я просил Господа освободить его от болезни.

Пришел сын, громко хлопнув входной дверью. Заглянул на кухню.

— Будешь ужинать? — спросил я.

— Нет, поужинал у мамы.

— Как она себя чувствует?

— С каких пор ты интересуешься маминым самочувствием? — резко спросил он.

— У тебя плохое настроение?

— Настроение хорошее. Только я просил тебя не говорить о маме.

— Но ты начал первый.

— Если ты думаешь, что у нас есть семья и ты можешь так, обыкновенно, между прочим, говорить о нас вместе, то это грубая бесчувственность.

— Когда ты будешь взрослым...

— Это я уже слышал, — и он ушел к себе в комнату.

Я пошел за ним. Дверь была заперта, и я постучал. Он никак не откликнулся.

— Мы цивилизованные люди, — сказал я в дверь.

— Вы, священники, цивилизованные люди, — он вызывающе засмеялся, — тогда наденьте пиджаки и галстуки, по крайней мере хоть внешне будете походить на цивилизованных людей. А то прячетесь в свои старомодные наряды и бороды, а сами ничем не отличаетесь от обыкновенных людей.

— Ты не можешь судить всех священников.

— Всех не могу, но тех, которых знаю, могу, могу судить.

Я стоял и молчал. Иван открыл дверь.

— Я сегодня зашел в «Баскин Робинс», — взволнованно начал он, — впереди меня обслуживался ваш отец Владимир. Он взял комплексный обед и бутылку пива и все это поставил на столик. А потом было очень забавно. Он торжественно и широко перекрестился, чтобы видели все его глубокую веру, и благословил крестом свою скудную трапезу.

— Это неосмотрительно он сделал, тут ты прав.

— Папа, я хочу спать, устал, — сын закрыл дверь, потом распахнул её и добавил: — Кстати, пап, тебе надо подстричь волосы. Жидкий хвост и залысины как-то не сочетаются. И борю подровняй.

Я доел свой ужин, пошел готовить записи для Веры. Завтра она придет в храм.

Молитва не шла на ум. Хотелось спать. Но я вспомнил об Илюше и начал читать вечернее правило и Канон Богородице.

Когда я улегся в постель, сна не было. Мно-

голетняя привычка к чтению перед сном заставила меня взять книгу с тумбочки. Я открыл главу и начал читать: «Единство церкви следует необходимо из единства Божьего, ибо Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Дается же благодать и непокорным, не пользующимся ею (зарывающим талант), но они не в Церкви. Единство же Церкви не мнимое, не иносказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов в живом теле.

Церковь одна, несмотря на ее видимое деление на человека, еще живущего на земле. Только в отношении к человеку можно признать раздел Церкви на видимую и невидимую, единство же ее есть истинное и безусловное. Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданный для земного пути (как ангелы), не начинавший еще земного пути (будущие поколения), — все соединены в одной Церкви — в одной благодати Божией; ибо еще не явленное творение Божие для Него явно, и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван им из небытия к бытию. Церковь же, тело Христово, проявляется и исполняется во времени, не изменяя своего существенного единства и своей внутренней, благодатной жизни, поэтому, когда говорится «Церковь видимая и невидимая», то говорится только в отношении к человеку».

— Истина, истина, — шептал я, положив книгу на грудь. — Точно, глубоко и вместе с тем просто выражены автором основные положения сущности Церкви.

Я хотел продумать, осмыслить слова прочитанного, но тревожным фоном, как «шум житейский», стояли впечатления дня и последний излишне эмоциональный разговор с сыном. И вместо осмысления прочитанного в голове закружились воспоминания.

Я ушел три года назад. Ушел в чем был и не вернулся.

Пасторские искушения касаются не только самого пастыря, но и его семьи. Часто эти искушения и разрушают малую церковь. Молодые женщины окружают пастыря. Они изливают ему душу. Находят глубокое понимание жизненных переживаний и искреннее сочув-

ствии. Такого сочувствия и понимания они не встречают у своих далеких от церкви мужей. Они проникаются к священнику сначала возвышенной, духовной любовью, а затем она перемешивается с любовью человеческой. Эта привязанность к человеку заставляет женщину приходить в храм уже не к Богу, а к человеку, в котором она видит мужчину. Женщина начинает мечтать о возможности построить отношения двух страдающих душ, затерявшихся в жестоком и скорбном мире, пусть не в этой жизни, но в жизни будущего века, и потихоньку называет своего тайного избранника небесным мужем. Душа священника слишком поздно замечает эти притязания и мечты, а когда замечает, то ужасается. Преследования, письма, шпионство, сплетни и разочарования являются итогом «духовных» отношений неопытного пастыря с «небожительницей».

Опыт приходит не сразу. Матушка начала ревновать, копить обиды и однажды, находясь в состоянии мучительной нервозности, крикнула сыну:

– Полубойся на своего папашу! – Я лежал на диване после очередной ссоры. – Какой пример верности долгу, церкви, семье подает этот отец, священник. Ты уже взрослый мальчик, мог бы меня защитить от этого тирана.

В комнату вбежал Иван. Он был испуган скандалом.

– Сейчас же встань! – крикнул старший брат. – Извинись перед мамой!

Я не двинулся. Я лежал и думал о том, что разрушается в сознании моих детей фундаментальная основа семейных отношений – институт отцовства. Если я не уйду сейчас же, то будущая жизнь будет уничтожена.

Ваня, заплакав, выбежал вон. Матушка в слезах бросилась за ним. Старший молча вышел, он не знал, что делать дальше. Я сел, свесив ноги, и в одну секунду принял решение. Оделся и ушел навсегда. Она никогда не попросила меня вернуться.

...Я встретил ее в театральной студии молодежного театра, где был ведущим актером. Театр возглавлял выпускник «Щуки» Игорь Петрович Сомов, человек талантливый, но бесконечно страстный. Каждый спектакль он ставил вдохновенный очередной пассией из

собственной труппы. Отношения с молодой актрисой занимали все его время. Он жил, имея две страсти, которые вытекали одна из другой. Театр и любовь к девушкам. Это было его обыкновенное состояние: он любил и творил для очередной возлюбленной. Он творил, чтобы она любила его и восхищалась им. Для меня же театр был университетом, собранием единомышленников, исповедующих одну духовно-нравственную идеологию, которую театр транслирует зрителям. Театр-лаборатория для выращивания душ. Когда я понял, что Сомов движим только страстями, я ушел из театра. Позже его убили в подворотне.

Она разделяла мои взгляды и ушла со мной. К тому времени матушка не была верующим человеком. Она была комсомолкой, комсоргом, живым организатором молодежных дел. Её живость, любовь к жизни и людям подкупили меня, и я сделал ей предложение. Мы поженились. Мне было тогда двадцать три года от роду.

Я вспоминал, как привез её в гости в Нижегородскую губернию к своему институтскому другу Володе Чугунову. Там в семье уже царил патриархат. Утренние и вечерние молитвы были обязательны. Молитвы перед вкушением пищи, благодарственные молитвы. Разговоры о Боге, о церкви. Володя пас стадо коров, называя себя пастырем бессловесных.

Моя жена на третий день забила в угол и горько плакала. Я нашел её и спросил, что происходит:

– Я хочу домой, увези меня отсюда, – жалобно просила она.

Я понимал, что будет «ломка», но именно эту цель я и преследовал. Она со временем привыкла и кое-что переняла из христианского, патриархального образа жизни.

Сна не было. Я включил свет. Через минуту раздался осторожный стук в дверь.

– Пап, не спишь?

– Не сплю.

– И мне не спится. Ты прости меня за грубый тон.

– Бог простит, а я не сержусь.

– Тогда хорошо, спокойной ночи.

«Сердце у него хорошее, доброе», – подумал я.

Вера ждала меня у храма. Она выглядела ярче, чем вчера. Подкрашенные ресницы, прибранные волосы, румяна делали её лицо более выразительным. Легкий черный плащ, перетянутый в талии пояском, утончал ее фигурку, которая была приподнята над землей высокими каблуками.

— Здравствуйте, — смущенно поприветствовала меня Вера.

— Здравствуйте, — ответил я и спросил: — А вы умеете брать благословение у священников?

Вера зарделась.

— Умею, только я испугалась, — она старательно сложила кисти рук и по-детски протянула их ко мне с видом человека, который просит что-нибудь положить ему в них.

Я перекрестил ее и положил свою ладонь в ее холодные сухие ладошки. Она наклонилась к моей руке, и я услышал тонкий запах духов, что-то цветочно-весеннее.

— А куда это вы собрались такая нарядная, Вера? — спросил я весело.

— К вам, отец Евгений.

— У вас холодные руки, вы, наверное, замерзли в такой легкой одежде? Весна — обманчивое время года. На солнце тепло, а земля еще не прогрелась. От нее так и веет сыростью и холодом. Надо беречь себя, Вера.

— Я берегу себя, спасибо за беспокойство.

Вера, казалось, была смущена:

— Вы принесли «листочки»?

— Да, принёс.

Я протянул ей приготовленную еще вчера испанную бумагу.

— Только заранее прошу меня простить за мой почерк, небрежности, орфографические ошибки и другие поправки. Все делаю торопливо, как говорят в народе, «на босу ногу».

Вера улыбнулась.

— То есть небрежно, за отсутствием времени, — пояснил я.

— Понятно, понятно, — рассматривая мою писанину, говорила Вера. — Когда принести работу? — Она взглянула мне в лицо.

— Как напечатаете, так и приносите.

— Я сегодня все это наберу.

— Так скоро?!

— Но ведь здесь небольшой объем.

— Думаю, вам придется потрудиться, разбирая мой почерк, — с сомнением в голосе сказал я.

— Ваш почерк я разберу, это несложно, — задумчиво сказала Вера и, наверное, подумала: «Мне бы разобрать ваши мысли».

— Когда принести?

— Приходите завтра в это же время к храму.

— Приду, — весело сказала Вера и спросила: — А вы завтра еще принесете «листочки»?

— Если подготовлю, то принесу.

— Тогда благословите начать работу.

Она под рукой спрятала листы, прижала их к плащу и снова сложила ладошки.

Я перекрестил их и крепко пожал её похолодевшие пальчики.

— Вы совсем замерзли, Вера.

Она обхватила мою руку и, не отпуская её, сказала:

— Я замерзла внутри, с тех пор как ушел из жизни мой отец. Но теперь все будет хорошо, я отогреюсь, ведь так и будет?

— Так и будет, Вера. Господь всех согревает своей любовью.

— Ну, я побежала.

Она крепко, с чувством сжала мою ладонь и торопливо пошла, несколько раз оглянувшись.

Я смотрел, как удалялась эта тоненькая фигурка, и у меня возникла некоторая догадка и новый план.

Маньяк

Следователь прокуратуры приехал к храму, когда я с Тихоном обсуждал предстоящую работу. Невысокий, взгляд внимательный, цепкий. Рука крепкая. Такой ухватится — не оторвешь.

— Моя мать, Галина Николаевна, знает вас. Она директор детского дома, она рассказывала о вас.

— Чем могу вам помочь?

— Дело очень деликатное. Но сначала представлюсь. Я старший следователь прокуратуры Владимир Удальцов, — он полез в боковой карман пиджака.

Я жестом остановил его.

— Хорошо. Разговор между нами.

— Священники умеют хранить тайны.

— Это мне как раз и надо, — он помрачнел, — мы взяли преступника. Может быть, слышали информацию о том, что пропадают девушки?

— Да, конечно, слышал.

— Мы взяли подозреваемого. Он отпирается, понятное дело. Вышли на след случайно. Наверное, Бог помог. Он их душил и совершал преступные действия. А одна женщина спаслась чудом. Преступник думал, что она мертва. Вот она-то как раз и описала нам подозреваемого и его машину, красную «шестерку».

И потом мы нашли еще один труп и сделали анализ спермы. Совпадение стопроцентное. Ошибки нет. И вдруг подозреваемый попросил встречи со священником. Спрашиваем: «Зачем?» «Мне надо покаяться», — говорит. — Слова правильные знает.

— Да, удивительно.

— Согласитесь?

— Вы сюда его привезете?

— Нет, сюда, в храм, нельзя. Давайте вы приедете в прокуратуру? А мы его там подготовим.

— Я не против. — Мне стало интересно посмотреть на этого человека. — Только я не могу с вами сотрудничать. Вы понимаете это? Я не могу разглашать таинство исповеди. Если священник расскажет о том, что поведает ему кающийся грешник, то по правилам он будет лишен сана, то есть он перестанет быть священником, будет запрещен в служении.

— Да, это я понимаю, — согласился Удальцов. — Для следствия важен психологический момент. Может быть, после разговора с вами, ну после его исповеди, которую вы примете, может быть, он заговорит, начнет давать признательные показания. Моя интуиция мне подсказывает, что должен наступить перелом.

— Он уже знает, что исследование ДНК совпадает?

— Нет, мы пока ему об этом не говорим.

— Понятно. А сколько же он душ загубил?

— Погибло четырнадцать девушек от девятнадцати до двадцати четырех лет.

— Четырнадцать душ!? Какая трагедия для семей! Сколько людей страдает! Господи, помилуй нас, грешных!

Мы условились о встрече в прокуратуре, куда должны привезти преступника.

Утро было пасмурным. Слабый свет проникал в комнату. Я проснулся и, как обычно, спустил ноги с кровати на коврик. Было тихо.

Потом я услышал, что из комнаты сына доносится слабый звук работающего телевизора. Опять не выключил.

Когда же спят эти люди из телевизора? Включи в любое время — увидишь передачи, кино, смех, непотребства.

Я накинул легкий подтяжик и, осторожно открывая дверь, чтобы не скрипнула ручка, вышел в коридор. Звук телевизора усилился. Я наклонил голову к двери сына. Кроме звука работающего телевизора ничего не было слышно. Сын спал. Я приоткрыл дверь. Он лежал на боку, закутавшись в одеяло. Я прокрался к кровати, нащупал пульт и нажал на кнопку. Пульт не работал. Я подошел вплотную к телевизору и начал шарить рукой сбоку, ища выключатель. Нашував, придавил его. Получилась громкая отдача и булькающий звук экрана.

— Па, ну дай поспать, я всю ночь не спал.

— А что же ты делал?

— Не спал.

— Почему ты не выключаешь телевизор? Сколько тебе можно говорить одно и то же!

— Пульт кирдык.

— Спи.

Я вышел. Хорошо, что хоть компьютер выключил. Тот находился на расстоянии вытянутой руки.

После утреннего правила я отправился на встречу. Волнения у меня не было. За двадцать лет служения встречались разные люди.

Я попытался припарковать свою машину на свободное место прямо напротив прокуратуры. Выбежавший из здания офицер-охранник знаками показал мне, что здесь не положено парковаться.

— Так они меня здесь и ждут, — произнес я, но противоречить не стал. Завел двигатель, сдал назад и проехал подальше к магазину.

Неловко было на виду у всех нести крест, Евангелие, епитрахиль, требник. Люди останавливались и провожали меня взглядом. Зачем идет батюшка в столь незавидное место? Я скрылся за высокими дверями прокуратуры.

— Вы к кому? — спросил меня уже знакомый офицер.

— Я к Владимиру Удальцову.

— А, — понимающе протянул он, — пойдёмте, я вас провожу. Это на первом этаже.

Я смело прошел через металлоискатель, который недовольно пропищал, видимо реагируя на крест, и последовал за военным. Мы свернули в длинный коридор, и я увидел идущего нам навстречу Удальцова.

— Благословите, батюшка.

Он неловко сложил руки. Видимо, мама пороботала с ним утром. Я его перекрестил, но не дождался поцелуя «десницы Божьей». Получилось странное приветствие.

— Пойдемте, — он повернулся, и я двинулся за ним по красной ковровой дорожке.

— Комната небольшая, метров двенадцать, и вы, к сожалению, будете не одни. Там охрана. По-другому не положено.

— Как же я буду его исповедовать? — Я остановился перед дверью и задумался.

Удальцов смотрел на меня, ждал моего решения.

— Ну, хорошо. Накрою епитрахилью и тихо-тихо поговорю с ним.

— Ну и отлично! — обрадовался следователь.
— Ну что, входим?

Я кивнул. Сердце мое забилось быстрее обычного.

Удальцов толкнул дверь. «Исповедник» сидел в правой стороне у стола, два охранника с «калашами» находились слева. Увидев Удальцова, ребята встали.

Это была комната, похожая на школьный класс с партами. Стояло несколько столов. Стулья ютились у стены, рядом с охранниками, на одном сидел подозреваемый, причем стул был очень маленьким для него.

— Пропастин, встаньте!

Подозреваемый поднялся, и я смог рассмотреть его. Казалось, он совсем не волновался, играя в какую-то игру. Думаю, я понял, зачем он призвал священника. Бросились в глаза большие руки, покрытые волосами, и толстые, как сосиски, пальцы. На нем была серая, давно не стиранная рубашка с закатанными рукавами, он был большеголовый, с короткой шеей, которая уходила в могучие плечи. Комната пропахла этим немывтым человеком. Пот смешался с чем-то прокисшим. Устойчивый, густой, неприятный запах.

— Священник приехал. Будешь разговаривать? — строго и как-то напористо спросил Удальцов.

Он с ним разговаривал совсем по-другому, чем со мной.

— Конечно, буду. Здравствуйте, батюшка.

«И он тоже русский человек», — подумал я.

— Как вам удобно, отец Евгений? — спросил официально Удальцов.

— Я думаю, мы разместимся здесь, — ответил я, подойдя к столу, у которого стоял Пропастин.

Я положил на стол крест Христов, Евангелие в бронзовом окладе и, читая молитвы, начал облачаться в епитрахиль и поручи.

Удальцов жестом приказал ребятам с «калашами» сесть.

Облачившись, я посмотрел на следователя.

— Я вас оставлю, подожду за дверью.

— Сколько у нас времени? — спросил я Удальцова.

— Столько, сколько надо.

— Хорошо.

Удальцов вышел и тихо прикрыл дверь.

Я посмотрел на конвой, потом на Пропастина.

— Вы хотите поисповедоваться? — напрямую спросил я его.

— Да, я за этим вас пригласил.

— Вы воцерковленный человек?

— Я не понял вас.

— Вы в церковь ходите?

— Мать ходила. Я тоже ходил, но редко.

Он поглядывал на охранников, которые, казалось, уже забыли про нас. Один что-то тихо рассказывал другому на ухо, тот улыбался.

— Они нам не помешают, — произнес я твердо, властно, на правах хозяина положения, — сейчас я начну чинопоследование исповеди, а вы готовьтесь просить прощение у Бога за свои грехи.

Я зажег свечу, подплавил низ ее и поставил на голый стол. Она хорошо прилипла.

— Давайте молиться... Благословен Бог наш...

Я молился, а сам всем своим существом чувствовал этого человека. Он стоял в метре от меня, сопел носом. Мне было неловко рядом с ним находиться.

Я представлял, как он так же сопит носом и источает этот удушливый запах мужской нечистоты, тащит на верхний этаж к люку на чердак молодую девушку и угрожает ей огромным ножом. Она, сдавленно плача, поднимается по лестнице, а он смотрит на ее обнажавшиеся бе-

лые молодые ноги и торопит ее, мучимый жестокостью насилия и нетерпеливой похоти. Он не выпускает ее ни на секунду, тесно пролезая в люк и закрывая его, а фонарь уже ищет приготовленное ложе. Это старое стеганое одеяло, брошенное в самый угол чердака на куски стекловаты, голубиный помет и высохший шлак. Он ступает своими ножищами, наклоняясь и хрустя шлаком. Голуби громко хлопают крыльями, разлетаются во тьму.

— Иди тише, не ссы. Будешь делать то, что скажу, не трону. Останешься жить. Тише.

Он останавливается и прислушивается. А в это время нащупывает удавку в кармане легкой куртки.

— Видишь, постелено?

Он светит фонариком в угол чердака. Жертва дрожит от страха и давится слезами.

— Вижу.

— Иди вперед.

Она делает несколько шагов. Он накидывает ей удавку на шею и затягивает своими обезьяньими руками. Она почти не сопротивляется. Не успевает.

Через минуту теплую девушку он перекладывает на лежбище. Задирает юбку и стаскивает трусы. Теперь он может делать, что хочет. Ему никто не сможет сказать нет и обвинить в мужской несостоятельности.

Так уносятся мысли от молитвы. Я опомнился и продолжал:

— Се чадо, Христос невидимо стоит,

Приемля исповедание твое.

Не усрамияся, ни же убойся, ни же скрыеши что от мене, но

Не обинуя рцы вся елика соделал еси

И да приемлеша прощение от Господа нашего Иисуса Христа...

Я посмотрел на него. Он стоял с хладнокровным, отсутствующим взглядом.

— Наклоните голову к кресту и Евангелию. Я накрою вас епитрахилью, а вы покайтесь.

Он наклонился. Я положил на его шею и голову епитрахиль и тоже наклонился к нему.

— Меня подозревают в убийстве, — начал он хриплым голосом. — Я чувю, они от меня не отстанут. А у меня жена и двое детей.

Я молчал. Решил ни о чем его не спрашивать.

Не задавать никаких наводящих вопросов. Я уже понял, он не скажет ни слова правды.

— И я вот думаю. Всю голову себе сломал. Может быть, мне взять на себя три или четыре эпизода и отсидеть. Отсидеть вместо настоящего убийцы. Как вы, батюшка, скажете?

— Если вы не виноваты, вам не следует брать чужие преступления на себя.

— Но это же христианский поступок. Пострадать за другого человека, отсидеть за него в тюрьме.

— А как же ваша семья: жена, дети?

— Надо же жертвовать чем-то очень дорогим. Не так ли?

— Так-то оно так. Но давайте рассуждать. Вот вы возьмете и сядете за настоящего убийцу. Так сказать, возьмете его грех на себя. Будет ему хорошо от этого?

— Конечно, — согласился Пропастин.

— И у Бога вам зачтется, так?

— Так.

— Вы-то сядете, а он останется. Вы думаете, он оценит ваш поступок, когда узнает из прессы, что вас посадили по ложному обвинению в трех или четырех убийствах? В его убийствах?

Он задумался.

— Знаете, сколько людей сидят по ошибке следователей и судей?

— Это — да, это я знаю, полно таких.

— Что же, преступники всем им благодарны? Я думаю, они смеются и над судьями, и над несчастными невинными людьми. Ни один из них не пришел и не сказал: «Вы посадили человека зря за эти преступления, он не виноват, он не убивал. Отпустите его, а меня посадите. Это я настоящий убийца, а не он». Слышали вы о таких признаниях?

— Нет, не слышал.

— А знаете, куда пойдет настоящий, непойманый преступник? Он пойдет душить новые жертвы. А вы в это время будете сидеть за него и будете думать, что помогаете несчастному человеку. Понимаете?

— Значит, мне не надо брать на себя эти эпизоды, которые они мне шьют?

— Если вы не виноваты, ни в коем случае не берите.

— Я все понял, батюшка.

— Есть на вас какие-нибудь грехи?

Твоя болезнь

— Да нет, батюшка, больших грехов нету, а мелкие они у всех есть.

Я спросил у него спокойно и проникновенно:

— Как вас зовут?

— Игорь.

— Игорь, я буду читать молитвы над вами, а вы скажите Господу свои грехи потихоньку, неслышно.

Я положил ему руку на голову и почувствовал через эпитрахиль густое тепло его мясистой шеи и запах. И увидел, как он в углу чердака засыпает ее, бездыханную и остывшую, шлаком, перемешанным с голубиным пометом и кусками стекловаты. Потом все это разравнивает, придавая естественный вид. Складывает одеяло и, прислушиваясь, спускается с лестницы на пол последнего этажа подъезда.

Он выходит распаренный на улицу, швыряет в мусорный бак одеяло и идет домой, в семью...

— Целуй Евангелие и крест.

Он толстой пятерней, по-хозяйски снял с головы эпитрахиль, наклонился над столом. Спина его бугрилась под влажной рубашкой. Он только наклонился, но не прикоснулся к святыням, совершив пантомиму.

Я подошел к двери и позвал Удальцова.

— Ребята, уведите...

Уходя, Пропастин посмотрел на меня. Я отвернулся в надежде никогда не встречаться с этим человеком.

— Пойдемте, я вас провожу, — предложил Удальцов, — и спасибо вам за содействие.

— Маме передайте привет. На Троицу мы приедем в детский дом со спектаклем нашей Воскресной школы и с подарками.

— Хорошо.

Перед выходом Удальцов взял меня за руку.

— Ну, что скажете?

— Идея такова: я даже перед Богом не виноват, видите, я приглашаю Его, Бога служителя. А вы меня вините? Опомнитесь, я вам больше ничего не скажу.

— Ну, понятно.

Состояние было сложное, тяжелое. Я приехал домой. Сын еще спал. Выпив горячего чая, я сел писать.

Никакие теоретические доказательства существования Бога не нужны, когда происходит такое. Твоя болезнь проявилась неожиданно, в два с половиной года, и продолжалась девять лет. Вдруг срывался сердечный ритм, и сердце колотилось, как маленькие женские часики. Пульс зашкаливал за двести ударов в минуту. У тебя темнело в глазах, сбивалось дыхание, ты пугался в такие минуты и плакал. Мы вызывали скорую, врач всегда вводила внутривенно изоптин, приступ снимали, и пульс восстанавливался. Все местные отделения скорой помощи хорошо знали наш адрес. Я носил тебя на руках до семи лет. Это ожидание нового приступа не покидало сознание ни днем, ни ночью.

Однажды я ехал в автобусе и смотрел в окно. По стеклу проплывали дома, магазинчики, деревья, проносились срезанные рамой окна автомобиля. Я думал тогда: «Почему это произошло с тобой, почему это происходит с нашей семьей?» — и не находил ответа. Твоя болезнь лишила тебя детства, и было очень обидно.

Тогда я пришел в церковь. Я нашел причину твоей болезни в себе, в своих грехах, в своих падениях и начал каяться и молиться.

Твоя болезнь была моей слабостью, она заставила меня от многого отказаться. Я жил тогда как аскет-праведник примерно пятнадцать лет.

Я учился в Литературном институте в Москве, и это позволило мне искать пути лечения твоей болезни. Творческий руководитель мастерской прозы М.П. Лобанов познакомил меня с доктором Угловым, который был большим писателем и мудрейшим из людей. Я нашел его на подмосковной даче. Он был уже очень старым человеком, по-моему, он прожил сто лет и пользовался большим авторитетом. Он направил меня к доктору Соколову из Боткинской больницы, а тот, в свою очередь, познакомил меня с Лео Антоновичем Бокерия, в то время профессором института имени А.Н. Бакулева. Бокерия принял нас с сыном.

Мы стояли в коридоре перед дверью. Ты, шестилетний мальчик, белоголовый и голубоглазый, и я, растерянный и виноватый человек, а рядом стоял наш чемодан. Мы приехали надолго. В моей голове пульсировала

только одна мысль: операция на сердце моему сыну, моему мальчику. Это было сном. В это невозможно было поверить.

Ты был ребенком, кротким, послушным, ничего не понимал в том, что происходит. Ты доверчиво шел за мной. Ты полагался на меня, последнего грешника. Я беспрестанно читал Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного». Наконец открылась дверь, потянулись из кабинета люди, и Лео Антонович вышел и пригласил нас.

— Мы от Сергея Сергеевича Соколова.

— Да, он звонил мне. — Лео Антонович говорил с ярким грузинским акцентом.

— Что же там бросили свой чемодан, — указал он на закрывающуюся за мной дверь, — вдруг кто-то утащит его.

— Ничего страшного, — смущенно отвечал я.

— Как это, ничего страшного? Занесите, занесите.

Я неловко протиснулся в дверь с большим чемоданом и неуклюже поставил его на пол.

— Привезли документы, выписки, ЭКГ?

Я все это держал в руках и протянул ему.

— Интересно, какой это дополнительный путь, — перелистывая карточку, приговаривал доктор, — интересно. По кардиограмме ничего понять невозможно. Надо делать ЭФИ, а потом возможна полостная операция.

Ты смотрел на меня. Я нервничал и не сводил глаз с доктора. Лео Антонович заинтересованно изучал кардиограмму через очки. Он был небольшого роста, очень стремительный и решительный. Сорвал с телефона трубку, набрал короткий номер и сказал:

— Примите мальчика с его отцом, фамилия Седогин, шесть лет, — и, улыбнувшись тебе, сказал: — Все будет нормально, будешь здоровым. Идите, оформляйтесь. По коридору налево, 121-й кабинет. Не забудьте чемодан.

Я вышел за тобой в коридор. Решение было принято. Операция. На меня навалился панический страх.

— Подожди меня здесь, я сейчас.

Постучал костяшкой пальца в дверь. Я вернулся к доктору.

— Простите меня, Лео Антонович. Вы же понимаете, это мой сын. Я очень переживаю за него. Как это все будет? И каков результат?

Он вышел из-за стола и строго посмотрел мне в глаза.

— Вы приехали лечить мальчика? Давайте лечить. И ничего не будем загадывать.

Я молча вышел. Ты смотрел на высокие стены коридора, на медсестер и врачей, тебя все интересовало в Москве.

Потом была полостная операция и твое медленное выздоровление.

Ты похудел, был бледный и почти прозрачный. Когда тебя привезли из реанимации, на тебя было больно смотреть. Ты ничего не хотел есть. Но к самому вечеру ты вдруг произнес:

— Курочку хочу.

Я не знал, можно ли тебе курочку. Да и негде было взять курочку в такой час.

А ты повторил еще раз:

— Курочку хочу.

Напротив твоей кровати лежала тяжелобольная женщина-грузинка, которую звали Русико. От нее не отходила её родная сестра Манана, она-то как раз услышала твое желание.

— Курочку хочешь? — спросила она. — Я принесу.

Она сняла халат и отправилась на улицу разыскивать тебе «курочку» в ночной Москве. Через час курочка была доставлена. Ты кушал любимую курочку с большим аппетитом.

— Сколько я вам должен? — спросил я Манану.

— О чем вы говорите! — возмутилась она.

Это было время, когда народы СССР жили очень дружно и понимали друг друга.

Через месяц мы приехали домой. Мы все радовались твоему выздоровлению. А через полгода, когда мы гуляли с тобой в парке, вновь случился приступ. Он был с частотой ударов сто шестьдесят в минуту. Это было возобновление болезни. Отчаяние овладело мной тогда. «Почему, Господи, ты нам не помогаешь?!»

Позже я узнал, что во время операции Бокерия не обнаружил дополнительный путь, так называемый пучок Махейма, который откроют только спустя шесть лет после операции. А к тому времени он был ещё неизвестен кардиологическому миру.

Приступы стали происходить реже и с меньшей частотой сокращений сердечной мышцы, и мы надеялись на полное выздоровление. Но этого не происходило. Твоя жизнь была полна огра-

ничений, она отличалась от жизни сверстников. Я надеялся только на помощь Бога. Думать о повторной операции на сердце казалось безумием для меня. «Может быть, этой смиренной жизнью Господь готовит тебя к чему-то возвышенному», — так думал я, и так говорил мне мой духовник игумен Онуфрий. И вот однажды Бог показал мне. Я увидел по телевизору репортаж из института имени Бакулева. Врачи нашли новый способ удаления дополнительных пучков через бедренную артерию. Эту операцию проводил профессор Ревитшвили.

Я незамедлительно отправился в институт. К тому времени образование мое было закончено. Три года я работал заведующим литературной студией при Дворце культуры и не выходил из церкви, вознося молитвы и прислуживая в алтаре. И вскоре меня рукоположили в сан диакона.

Пришли новые рыночные отношения, меня пугала новая Москва. Но профессор принял меня благосклонно. Когда я предъявил ему страховую полис, он повертел его в руках и вернул мне.

— Мы не сделали того, что должны были сделать. Это ничего не будет стоить.

Тогда, в 1991 году, операция стоила уже пятьсот американских долларов. Конечно, у меня не было таких денег.

Амиран Шотаевич Ревитшвили, человек высокого роста, даже долговязый, ходил по коридору больницы, лениво размахивая длинными кистями рук. В его облике было что-то светлое и спокойное.

Мы получили приглашение и выехали на операцию. Я тебе никогда не рассказывал, дорогой мой мальчик, что, когда тебе сделали укол и без одежды, голого, закрытого простыней, повезли на коляске в операционную, Амиран Шотаевич сказал мне:

— Пойдете с нами. Я поставлю вас у двери операционной. Когда мне нужно будет принять решение, я выйду к вам и спрошу.

Ты ехал впереди нас, накрытый простыней, я видел лоб, руки и торчащие из-под простыни ступни ног.

— Что может случиться?!

— Я могу не найти пучка.

Они скрылись за белой дверью. Я ходил по коридору и молился шесть часов. Я просил Господа помочь доктору и его рукам, я просил, чтобы

он не выходил из этой белой двери операционной. Но все-таки Амиран Шотаевич в маске на лице, с капельками пота на лбу вышел ко мне:

— Что мне делать? Я не могу локализовать.

— Какое наименьшее зло в этой ситуации? — взволнованно спросил я.

— Разбить узел и стимуляция.

Я сказал:

— Если нет другого выхода, делайте.

Когда закрылась дверь, слезы полились из моих глаз.

— Господи, сколько можно? Почему ты нас оставил?

Под левым подреберьем у тебя будет стоять маленькая коробочка, в которой будет заключена твоя жизнь. В этой коробочке находится та мера энергии, которая должна посылать электрический разряд для работы твоего сердца.

Слезы душили меня. Это был вопль отчаяния. Вдруг из операционной вышла молодая женщина, на ходу снимая белую маску с лица.

— У вас все хорошо, не волнуйтесь. Доктор локализовал пучок.

— Это правда? Вы говорите правду?

— Да правду, правду. У вас все хо-ро-шо.

Позже, когда я перед отъездом разговаривал с Амираном Шотаевичем, то спросил у него:

— Как у вас это получилось?

— Знаете, Бог, наверное, есть. Когда пришел от вас, я наудачу пустил радиочастотный луч. Вот и все.

Я уже выбрал свой путь, встав на первую степень священства. Я задаю себе вопрос: может быть, Бог хотел, чтобы там, где я вырос, был построен храм ценой таких жестоких испытаний? Пути Господни неисповедимы...

Вера и красота

Вера пришла утром. Я совершал богослужение. Она стояла среди горстки прихожан и молилась, возжигая свечи у иконы Божией Матери. Она не была чужой в храме. За много лет служения Богу и общения с людьми я понял, что храм создается «для своих». Для тех, кто свой Богу, и тех, кто свой друг другу. Остальные текут водой, мимо. Воду ничем не задержать. Оттого и мир называют морем житейским. Когда мы, студенты Литературного института Володя Чугунов,

Миша Резин и я, мечтали о будущем служении, мы верили, что сможем изменить мир. Мы чувствовали в себе силы, мы знали, что приходит наше время, время собирания камней. Мы горели как свечи, готовые воспламенить других людей. Образы Иоанна Кронштадского, которого большевики боялись и называли черносотенцем, Амвросия Оптинского, у которого бывали Толстой и Достоевский, будоражили наше сознание. Это вставала Россия, а за ней загоралась Святая Русь, сказочная, волшебная, таинственная страна. Мы хотели служить той, Древней Руси. Мы хотели включить в людей все генетические программы, которые, мы знали, живы в недрах русского национального сознания, русского менталитета. Нужно было только включить эту связь, как включают электрический ток, а он потечет беспрепятственно и свободно. О, как мы ошибались в своих мечтах! Как изменчив человек, как непредсказуема сама жизнь! Как страстны, как изобретательны люди в поисках наслаждений и удовольствий! Свобода открыла русскому человеку не пути к Богу, о чем мечтали мы, Россия, получив свободу, открыла пути к греху. Она бросилась в его пучину, искушаемая открывшимися возможностями, и не может остановиться. Запмятовал русский человек, что страсть ненасытима. Большевики держали народ в идеологическом рабстве, а те, которые пришли после них, затягивают в рабство денег.

Я закончил службу и вышел исповедовать людей. Их оказалось три человека. Вера подошла последней и протянула мне черновик и распечатанный на компьютере текст моих сочинений.

— Вот, — сказала она, — я набрала, но, правда, несколько мест оказались для меня неразборчивыми. И мне нужна ваша помощь.

— Вера, у вас есть время подождать меня после службы?

— Да, есть, я подожду.

Храм опустел. Стало тихо. А тишина храма особенная. Это звучащая тишина. Когда уходят люди, они думают, что диалог между Богом и человеком уже не происходит. Но Бог продолжает говорить, а человек уже ушёл в суету жизни. Он не слышит голоса Бога из-за шума житейского. И тот, другой, кто входит в храм, когда голос Бога еще звучит, он ступает тихо, двигается осторожно, потому что чувствует звучание голоса Творца.

Зашелестел плащ, и я громко спросил из алтаря:

— Вера, вы здесь?

— Я здесь, я вас жду, — тихо ответила Вера.

Мы шли и разговаривали.

— Мне понравились ваши идеи, они очень своевременны. Эпоху, это ваше главное слово, надо описать, но с такой её стороны, с которой никто её еще не описывал.

— Что вы имеете в виду, Вера?

— Надо описать самую главную жизнь человека, то есть настоящую жизнь, ту жизнь, которой он живет взаправду. А не ту, которая на показ, не ту, которую сочиняет, словно детектив, в котором сам же и является главным героем и не знает сам, чем все закончится. А вы как раз видите человека таким, каков он есть, потому что встречаете его в минуты настоящих страданий, болезней разных. Я не права?

— Вы правы, Вера, совершенно правы, — обрадовался я, — вы не только будете мне помощником, но и собеседником.

— Да, да, — утвердительно сказала Вера, — пишите скорее, надо, чтобы все об этом узнали.

— О том, что вы будете моим собеседником?

— Нет, чтобы все узнали про всех всё... То есть всю правду о жизни, — выпалила Вера.

Я невольно засмеялся.

— Почему вы смеётесь? — смутилась Вера.

— Простите меня, Верочка, просто вы это так по-детски сказали, так непосредственно и так живо, что я невольно порадовался в душе и засмеялся.

— А знаете, — загадочно сказала она, — сколько мы с вами не виделись?

— Не знаю.

— Мы с вами проговорили вчера три минуты и семнадцать секунд, а не виделись двадцать три часа, пятьдесят шесть минут, пятьдесят семь секунд.

— Удивительно точно, — произнес я и подумал о том, какой она трепетный человек. Я решил немедленно действовать, осуществлять свой план. Только бы сын был дома.

— Который час, Вера, что говорят ваши часы на этот раз? — спросил я.

— Десять пятнадцать, — сказала Вера и настожилась. — Вы куда-то спешите?

— Напротив, я хочу пригласить вас домой, чтобы вместе поработать над текстом.

— Я согласна поработать. А вы еще что-то написали?

— Материал сырой, но кое-что есть.

Я открыл дверь ключом. В квартире было подозрительно тихо. Но вдруг послышался сонный голос сына:

— Пап, это ты?

— Да, это я. И я не один.

Вера стояла как вкопанная.

— Снимайте плащ и проходите, — сказал я Вере, а сам прошел в комнату, постучал в дверь Ивана и сказал:

— У нас гостя. Приведи себя в порядок и выходи.

— Какая еще гостя? — прошипел Иван.

Вера прошла в большую комнату, присела на край дивана и стала осматриваться. Её взгляд остановился на стене, увешанной иконами. Это были старинные доски девятнадцатого — начала двадцатого века. Веру привлекла большая икона Пресвятой Богородицы, писанная на кипарисе в девятнадцатом веке на святой горе Афон и подаренная какому-то русскому храму. Свидетельство об этом сохранилось на задней стороне иконы. Текст дарения сохранился, он был традиционным и делался оттиском, а надпись о том, какому храму дарилась икона, была утрачена. Она выполнялась вручную, чернилами того времени. Икону мне подарила простая деревенская пожилая женщина Мария, дочь которой жила уже несколько лет в Соединенных Штатах, в Майами. Мария приехала к стройке поздно вечером на «Жигулях» с водителем. Они вызвали меня и открыли багажник. В сумерках я не рассмотрел дара. Водитель занес икону в храм и поставил на стул, прислонив к стене. Я включил верхний свет и замер от удивления. Это была Богородица «Одигитрия» тонкого афонского письма, которое ни с каким другим письмом невозможно спутать. Низ иконы был значительно утрачен, зато лик и одеяние Богородицы сохранились превосходно. Требовалась реставрация, чтобы избавиться от «мерзости запустения».

— Откуда эта икона? — спросил я Марию.

— Сберегали, батюшка, как могли, после

осквернения храма, — начала свой рассказ женщина. — Сперва хранили в зерне, потом на чердаке, а потом про неё и вовсе забыли. А несколько лет назад мой дедушка обнаружил, когда разбирал вещи. Вот мы решили её привезти в строящийся храм. Примите, а за нас помолитесь.

Видно было, что они не понимают ни духовной, ни материальной ценности этой иконы. Я поблагодарил и принял бесценный дар. Икону отреставрировал и ждал, когда завершатся отделочные работы верхнего храма, чтобы внести Игуменью и вручить храм под её благодатный покров.

Мария стала прихожанкой нашего прихода. Иногда оставалась ночевать перед большими праздниками прямо в храме на коврах, потому что трудно было утром из деревни добираться к началу службы. А однажды она попросилась днем, между службами, побыть в храме, помолиться и отдохнуть. Служки отказали ей, сказав, что в храме материальные ценности, службы нет, заперли дверь и ушли. Она простояла на улице под дверью несколько часов до самой вечерни. Когда это выяснилось, я очень огорчился. Ждал её, чтобы испросить прощения, но она не пришла. Умерла.

— Какая красивая икона! — сказала изумленная Вера, когда я вошел в комнату. — А можно мне подойти поближе и посмотреть?

— Подойди.

Я присел на диван и стал наблюдать за Верой. Она подошла бесшумно, на носочках и выгнулась перед Богородицей. Неподвижно стояла с минуту, а потом произнесла:

— Я такой красоты никогда не видела. — Она как будто говорила сама с собой.

— Причём, Вера, заметь, здесь две красоты сходятся: одна — внутренняя, другая — внешняя. Они не дополняют друг друга, нет, а находятся в абсолютном равновесии, гармонии.

— Гармонии, — тихо повторила Вера и спохватилась: — Именно, именно в гармонии. — Вера повернула ко мне голову: — Как такое можно было создать? — она снова смотрела на икону.

— Когда мы видим только внешнюю красоту, она кажется пустой. Когда мы сталкиваемся с внутренней красотой, то мы её не узнаем. Мы её не видим, потому что до неё надо вырасти. А ког-

да вот так, то чувствуется полнота, глубина и красота человеческой личности.

Вера затихла, а потом спросила:

— А можно поцеловать?

— Можно.

Она с благоговением перекрестилась и приложилась к иконе.

— А это ваша икона?

— Не знаю, Вера, как буду расставаться с ней, — в раздумье сказал я. — Она стояла у нас в квартире до реставрации. Потом я её увез к художнику и когда вернулся, то обнаружил в доме пустоту. Оказывается, она держит все пространство. Это удивительно. А когда икона снова оказалась в доме, мы почувствовали, что она звучит. Вот сейчас вынеси её в другую комнату — и будет зиять пустота.

— Держит пространство, — повторила Вера, — и звучит. Как это вы хорошо сказали!

В комнату вошел Иван, недоверчиво поглядывая то на Веру, то на меня.

— Познакомься, — сказал я Вере, — это мой младший сын Иван, — и подумал, что она не может не понравиться ему. Она была одета совсем по-молодежному, в духе времени: в джинсовой юбке и зеленой блузе, которая так шла к её темным волосам, расчесанным на прямой пробор в середине головы, и её карим глазам, живым и очень глубоким.

— Иван, — сухо произнес мой сын и протянул Вере для приветствия два пальца, которые она вынужденно пожала и смутилась.

Я сделал вид, что ничего не заметил, но насторожился.

Он сел, нахохлился и как-то подчёркнуто молчал.

— Вера тоже прихожанка нашего храма, — сказал я. — Совсем недавно она завершила учебу в университете, причем с красным дипломом.

— Похвально, — сказал Иван, — и радостно за отца, что теперь среди народа, который едва научился читать по-русски, я уже не говорю о церковнославянском языке, в котором он ничего не понимает, будут стоять и молиться новые молодые интеллектуальные силы. И много у тебя таких?

— А ты приди и сам посмотри.

— Я всё детство провел среди вашего забитого народа, когда ты таскал меня с прихода на при-

ход по деревням и сёлам. С меня хватит. — Ироничный тон прямо сквозил в речах сына.

— Совсем и не забитый наш народ, наш народ живет сердцем, а не умом, и поэтому наш народ добрый, — вступилась Вера.

— И читать он умеет, — встал я на Верину сторону, — молитвы читает как раз на церковнославянском языке.

— Русской азбукой, — подхватил Иван, — знаю я эти книги. И слышал не один раз, как читали твои бабушки зауспокойные молитвы. Знаете, Вера, однажды задаю себе вопрос: почему отец поет один и тот же текст всегда одинаково, а слышу у бабок — тот же самый текст имеет совершенно другие смыслы. Не поленился, взял требник и сравнил. И результат меня просто поразил. В настоящем тексте речь идет о том, что человек умер и он попадает к Богу на суд, а у Судьи «нет лицепрятия», то есть Он не смотрит, кто богат, кто беден, он судит всех «по делам его». А бабки поют примерно так: грешник попадает в другой мир, «где нет лиц приятелей». И это только один пример, их можно приводить бесчисленное количество. Они читают, а смыслов вообще не улавливают, все тексты переиначивают на свой манер.

— Ваня, ты удивляешь меня своей наблюдательностью, — сказал я.

— Хорошо, если так, — развеселился Иван, — приведу еще пример. Помнишь, тебя послали послужить в какую-то деревню, уж не помню названия. Ты меня взял с собой. Служба началась, и вдруг в какой-то момент заглядывает в алтарь свиная рожа в платке...

— Ваня, как ты выражаешься! — я посмотрел на Веру. Она заинтересованно, с улыбкой на лице слушала.

— Как чувствую, так и выражаюсь, — отпарировал Иван. — И эта свиная рожа говорит: «Батюшка, богослови», — а сама держит книгу в руках. Отец перекрестил её, и она пошла на середину храма. И вот тут началось самое интересное. Когда отец сказал громко: «Премудрость», — то вот это самое существо ответило: «К корифанам послание апостола Павла чтение».

Вера залилась смехом.

— И это человек, который стоит на клиросе, что предполагает его церковную образованность, — закончил Иван.

— Было такое, — улыбаясь и глядя на Веру, подтвердил я. — Никогда в истории церковной жизни не хватало русскому народу знаний. Не книжный русский народ. Это, может быть, главная проблема нашего Православия.

— А как же Святая Русь? Московское царство? — спросила Вера.

— Да, — добавил я, — Москва — третий Рим, и четвёртому не бывать. Это идеи, которые остаются желаемыми в умах теоретиков христианства и так называемых патриотов, которые и в храм-то не ходят. Но на деле все происходит иначе.

— Как иначе? — взволнованно спросила Вера. — Возрождаются храмы, монастыри. Вот вы строите храм, столько тратите сил, энергии, это что, все напрасно, безнадёжно? Книгу пишете?

Ваня посмотрел на Веру, потом на меня.

— Это всего лишь камни, Вера, — задумчиво ответил я, — а нужно образовывать народ, который — тут я согласен с тобой, Ваня, — продолжает оставаться невежественным и грубым. Вы никогда не задумывались, почему в русских народных сказках Иванушка...

— Терпеть ненавижу это имя, — перебил меня Иван.

— С помощью чудесных средств и особенно благодаря своему «не уму» успешно проходит все испытания и достигает высших ценностей. Он побеждает противника, женится на царской дочери, получает и богатство, и славу. Или тот же Емеля, которому помогает отпущенная на волю щука. Она выполняет все его желания: стоит ему приказать «по шучьему велению, по моему хотению», и всё сбывается. Или слово такое любимое и так понятное русскому человеку — «авось». Всё делается на «авось», а выходит как надо? Да потому что русский народ жил в пространстве религиозного сознания и религиозного быта. Все крестились, все молились, ходили в церковь каяться и причащаться. Все были, если можно так сказать, бытовыми христианами. И это была жизнь, и они в этой жизни жили как дети. Бог помогал, защищал, оберегал русского человека. Это и называется у любителей русской старины традициями русского народа. Живая народная жизнь. Она сохраняется и теперь, хоть все слои общества, все классы стёрты, но в недрах жизни течение этих глубинных пластов происходит. Все крестятся в церкви, но, если спросить, зачем они

это делают, объяснить вразумительно никто не сможет. И это происходит в двадцать первом веке. Я вам приведу ещё пример. Хоронят человека и бросают лапник, сосновые ветки из машины на дорогу, по которой медленно везут покойного. Спрашиваю: «Зачем вы это делаете?» Отвечают: «А мы не знаем. Все так делают». — «Зачем же вы делаете то, чего не знаете?» Пожимают плечами.

— А зачем бросают эти ветки? — спросила Вера.

— Свидетельствуют о бессмертии души человека. Ель и сосна — вечнозеленые деревья. Другие зимой умирают, а хвойные нет, они всегда живы. Помните, у поэта Булата Окуджавы: «Ах ты, ель моя, ель, словно Спас на крови». Ель является символом Христа, умершего и воскресшего.

— Понятно, — протянула Вера.

— Так вот когда-то они жили, были бытовыми христианами, ходили по воскресеньям и великим праздникам в храм, причащались. Наверное, они были счастливы как дети, потому что была живая жизнь, пусть и не осмысленная. Но, когда пришли испытания, они от этой жизни с легкостью отказались, потому что не имели знания о том, чем владели. Они не могли ценить то, что имели, потому что, чтобы это сокровище оценить, его надо знать. А они не знали своего православия. Не понимали, что им защищать. В противном случае они бы от этого с такой легкостью не отказались. Принцип самосознания русского человека всегда находился на уровне младенческого. Воистину, они жили и живут как дети. А сейчас — как развращенные дети.

— И что же будет? — спросила встревоженная Вера.

— Понаедут гастарбайтеры и обратят нас в свою религию, — вставил Иван.

— Всё повторится в дни испытаний, — твердо сказал я. — И всё будет повторяться до тех пор, пока народ из духовного мракобесия и невежества не пойдёт к знанию.

— Кто ему будет давать эти знания, эти ваши...

— Иван, — строго крикнул я, — остановись!

— Да ладно! — было видно, что он возбуждён разговором.

— Знания будем давать мы, русские образованные люди, которые сохраняют преемственность культуры, аккумулируют её и передают дальше, следующим поколениям.

— Что-то я этих людей не вижу, — язвительно заметил Иван.

— Не важно, сколько сейчас этих людей в России, — разгорячился я, — в двадцать втором году прошлого века их смогли посчитать и отправить на «философском» пароходе в вынужденную эмиграцию. Их было четыре сотни человек, европейски образованных людей. Они знали не только Россию, но и Европу, которая была к тому времени сплошь рациональной и ничего уже не понимала ни в духовных вопросах, ни в жизни. Это они хотели научить русский народ понимать собственную веру, знать её и хранить как несметное сокровище в чистоте вероисповедания такой, какой её Бог нам вручил. Это они хотели перейти бездну, которая существовала между народом и образованным классом людей, сформировавшихся под влиянием Петра Великого, который прорубил это пресловутое окно в Европу.

Я знал, что всё потеряно, что процесс деградации современного человечества настолько велик, что исправить его, остановить падение человека сможет, пожалуй, только глобальная катастрофа. Потому что современное человечество находится уже в сновидениях ада. Только перед лицом реальных страданий может опомниться человек. Но, разговаривая с сыном и Верой, я вдруг почувствовал, что вернулся в студенческие годы. Что те мысли и идеи, которые мы, три студента, высказывали и защищали, еще живы в моем сознании.

— Пусть нас мало, — сказал я, — но и Христос был один. Однако Он изменил мир.

— Вы должны это написать, — восторженно глядя на меня, сказала Вера.

— Я вижу, что вы с отцом — единомышленники. — Иван встал. — А мне здесь делать нечего. Давайте меняйте мир, только поскорее. Но хочу вас предостеречь, что Христос приходил и ничего не сделал, думаю, что и у вас ничего не получится. Но в любом случае, пап, дело, которое сопровождают молодые девушки, делается с большим удовольствием, чем когда бы их не было. Это доказали ещё большевики.

Он хлопнул дверью.

— Что его обидело? — спросила изумленная Вера. — Мне, наверное, не следовало к вам приходиться?

— Характер у него сложный, — неопределенно ответил я.

Мой план сорвался.

Мы поправили недочеты в тексте, и Вера, получив новые листочки, отправилась домой.

Я чувствовал себя опустошенным. Вера ушла обескураженная выходкой сына. Отчасти она своим присутствием вызвала у него волну негодования. И это означало, что она приглянулась ему. Я чувствовал, что следующая его встреча с Верой будет доброй и содержательной. Только мне надо ретироваться, оставив их беседовать наедине. Они люди одного поколения и хорошо поймут друг друга. Эта мысль успокоила меня. Я решил отдохнуть.

Не раздеваясь, я прилег в кабинете на диван, укрыв ноги и плечи пледом. Дневной отдых вошел у меня в привычку, потому что раньше, когда я нес послушание в кафедральном соборе и совершал по две службы на дню, это стало профессиональной необходимостью, чтобы восстановить силы. Продолжалось это целых шесть лет.

Я закрыл глаза. Вспомнились наш горячий спор с Иваном, лицо Веры, которая была на моей стороне. Всплыл в памяти наш спор, и понеслись в голове образы моей жизни и служения в Кривополянье, в храме Архистратига Михаила, в котором находилась тогда чудотворная икона Тихвинской Божией Матери, спасшей Раненбург в 1824 году от холеры. Её присутствие ощущалось всегда. От неё исходила притягательная сила Божественной природы. Она была убрана золотистой расшитой ризой, которую украшал большой крест с камнями, оставленный маститым протоиереем Василием Богоявленским, служившим и жившим в этом храме на колокольне пятьдесят лет. Он настоятельствовал сорок лет. Затем ослабел и был указом назначен почетным настоятелем, но остался жить на колокольне. Дожив до девяностолетнего возраста, он отчеканивал медленные шаги по крутым ступеням колокольни, спускаясь на ежедневные службы. Казалось, что его душа, оставив земную обитель, невидимо пребывает здесь, продолжая оказывать служение своей Божественной Игуменье. Лик Богородицы потемнел от времени, но различался, как бывают видны сквозь мглу непогоды сияющие на небе звёзды. За те два с половиной года, что я служил в Кривополянье, я лучше узнал противоречивую

жизнь народа, его жизнь в храме, а другую — в своей семье, в окружении односельчан.

Девятого июля, в день памяти Тихвинской, в храм стекалось большое количество богомольцев не только из Кривополянья, но и из близлежащих деревень. После окончания службы мы шли крестным ходом к Петропавловской пустыни, к месту, где исторически находилась икона Тихвинской. Пустынь была тогда в запустении. Пять километров пути до пустыни народ шел за Путеводительницей к спасению. Я видел это ликование и единство народной жизни в Боге. Это было шествие спонтанное, живое, не по подсказке сверху. И радость была живой, настоящей, искренней. Это были события современной жизни, похожие на реконструкцию той, прежней жизни, не уходящей, а уже безвозвратно ушедшей Руси.

Я вспомнил, как однажды, Великим постом, меня пригласили пособоровать «неходячих» бабушек в деревне Чечоры. Приехали за мной к вечеру, когда уже стемнело.

— Привезёте меня назад? — спросил я.

— А то как же, батюшка, привезём, — ответила румяная баба в платке.

— Вы на машине?

— На машине.

— Тогда я надену легкую одежду, — сказал я.

— Небось не замерзнете, — уверила она меня.

Мы ехали по заснеженной дороге к деревне. Печка работала плохо, и в машине было прохладно. Трасса неожиданно закончилась, и машина остановилась. Баба повернула ко мне лицо, замотанное платком, и сказала:

— Дальше машина не пройдёт. Поедем на санях.

Поёживаясь от холода, я вышел из машины и в темноте различил похрапывающих лошадей, запряженных в сани. Саней было двое. Мужики-возницы, казалось, были пьяны.

— А далеко ли ехать? — спросил я недоверчиво.

— На край села, — бросила баба, — тут рукой подать.

— Я спрашивал вас, как мы поедем, и надел лёгкую скуфейку.

— Садись, батюшка, в сани, мы тебя попойной накроем.

Я послушался и сел в первые сани.

Мужик, пошатываясь, разговаривал с лошастью.

— Тпру, стой! — кричал он, натягивая вожжи.

Баба залезла рядом со мной, приказала мне лечь и накрыла меня какими-то вонючими тряпками.

— А ну, трогай, пошла! — заорал мужик и вскочил в уже поехавшие сани.

За ними двинулась и другая подвода и тоже под истошные крики мужика.

Я полулежал в крошечной темноте и не знал, куда они меня везут, надеясь только на помощь Божью. Дорога была нечищенная, в буграх и ямах. Сани поминутно задирали то в левый бок, то в правый, и они грозили перевернуться. Мужик покрикивал на лошадь, которая храпела и, упираясь, рывками тянула вперед. Ехали довольно долго. Холод подбирался ко мне, и всё тело наполнилось дрожью. Наконец мужик закричал:

— Т-пру, приехали!

Баба сняла с меня тряпье.

— Приехали, батюшка, ко двору, слазай.

Я выбрался из саней и пошел следом за бабой.

— Ждите! — закричала она мужикам.

Изба была плохо освещена. Народу набилось порядочно, человек десять старушек. Хозяйка сидела на кровати, свесив ноги в валенках. Остальные сидели на табуретках и лавках. Я прошел к столу, который стоял под божничкой.

Перед иконой из фольги горела лампада, сделанная из жестяной банки. Стояло эмалированное блюдо с пшеном. Лежали свечи. Пол показался мне неровным. Я опустил взгляд под ноги и обомлел: он был земляной. Дальше была чумазая стена русской печи, внутри которой потрескивали дрова. От печи шло густое тепло, а по полу несло холодом.

«Как же они тут живут, — подумалось мне, — на дворе ведь конец двадцатого века?»

Я попросил какой-нибудь коврик под ноги. Мне принесли дерюгу.

Старушки с пониманием дела начали подвывать платки, освобождая лоб и уши для помазания елеем, расстегивать кофты и закатывать рукава. Было видно по этим действиям, соборовались они не в первый раз, а может быть, каждым Великим постом всю свою жизнь. Когда были силы, они приходили в церковь, а состарившись, стали приглашать священника в дом. Они сидели тесным кругом, как одна семья, не замечая земляного по-

ла, лоханки у порога с мутной водой, сваленных на лавку и развешанных на вбитые гвозди у дверного косяка зимних вещей.

Я установил семь свечей в приготовленное блюдо с пшеном, зажег каждую из них, передал восьмую горящую свечу низко поклонившейся мне бабушке. Она передала огонь рядом сидящей, еще более древней старухе, и вся изба наполнилась светом. Стало еще жарче. Дрова в печи потрескивали, свечи на столе вторили им.

Я возгласил:

– Благословен Бог наш!

Все стали креститься и, сидя, наклонять головы.

Без этого доверия Богу они бы не смогли переносить всё неустройство своей трудной жизни. Дом и быт были для них только временным пристанищем. Однажды, после вечерней службы, спрашиваю одну из них:

– Анна, домой пошла?

– Нет, батюшка, не домой. Ко двору. Домой к Богу пойдем, – сказала и с надеждой посмотрела на небо.

С каждым новым помазанием лбов, шамкающих ртов, впалых грудей и заскорузлых от бесконечных трудов морщинистых рук они становились мне ближе, роднее. Молитва умиротворяла всех молящихся, а чтение священных текстов наставляло:

«Братие, плод духовный есть; любы, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание; на таковых несть закона. А иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми. Аще живем духом, духом да и ходим. Не бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще. Братие, аще и впадет человек в некое прегрешение, вы духовнии исправляйте такового духом кротости; блюдый себе, да не и ты искушен будеши. Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов...»

Пособоровав бабушек, я поспешил выйти на свежий морозный воздух и вдохнул полной грудью.

Мужики попивали самогон и были пьяны пуще прежнего.

– Как же они нас повезут? – спросил я сопровождавшую меня бабу.

– Грелись, батюшка: на улице мороз, – сказала она и крикнула:

– Не удержались, не удержались. Я же вас просила?! Доедем, батюшка, потихоньку доедем. Садись, как давеча.

Я уселся в другие сани, она меня укрывала и села рядом. Мужик закричал на лошадь, она рванула, он побежал за санями, но, не удержавшись на ногах, упал в снег. Заматерился и закричал:

– Т-пру, шалава!

Лошадь остановилась. Мужик поднялся на ноги, сел боком в сани и крикнул:

– Пошла!

Сани поползли. Рассерженный мужик хлестал лошадь вожжами. Она при каждом ударе дергала, прядала ушами и несла нас по колдобинам. Сзади, за спиной, орал прежний мой извозчик и тоже хлестал ни в чем не повинную лошадь. Они как будто соревновались в жестокости.

Через мгновение лошадь, ошпаренная вожжами, в страхе рванула в сторону, сани въехали на валун и опрокинулись. Мы все трое оказались в снегу.

Я отряхивался от снега. Баба материлась на мужика, который нелепо оправдывался, сваливая вину на неровности дороги.

– Я дальше не поеду, – твердо сказал я.

– Батюшка, сто метров осталось, – говорила уже испуганная баба, – а там машина нас ждет.

– Прими, прими, Федор, – кричала она напроказившему мужику, – прими в сторону. Иван, давай подводу.

Я, смирившись, сел в другие сани и уже не сводил глаз с дороги.

В этой же самой деревне жили две «подвижницы-читалки». Ходили по домам, в которых случались покойники, и читали Псалтирь. Жили они по-монашески. Подражая древним подвижникам, изготовили на заказ гроб и по очереди спали в этом гробу, привыкая «к новому дому». Однажды Клавдия, так звали одну из них, предложила сделать свою фотографию в гробу, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть после смерти.

Агафья пригласила фотографа из райцентра. Заплатила ему денег и попросила сделать снимки покойной подруги. Фотограф приехал, вошёл в избу и начал фотографировать. Когда он сделал достаточное количество снимков и просматривал материал, Агафья сказала:

— Клавка, вставай!

И покойница села в гробе. Фотограф побледнел и, потеряв сознание, упал на пол.

Еще было происшествие в Чечорах. Приехал из города погостить зять со своей молодой женой к теще. А та собралась по весне к Пасхе свинью резать. Накрыли стол молодоженам, выпили самогона, и теща предложила зятю:

— А не смог бы ты, зятёк, свинью — того?

— А почему не смогу? Смогу, — расхрабрился после выпитого самогона зять.

— Сиди уже! — приказала ему жена.

Но муж уже собрался доказать теще свою способность.

Вышли на двор, отпёрли закут, из которого показалась огромная грязная свинья. Она, мирно похрюкивая, двинулась в желанное пространство. Зять с ножом в руке преградил ей дорогу, но она движением головы легко отстранила его с пути.

— Сильная скотина! — удивился обескураженный зять.

Тёща, подсобляя ему, ходила за свиньёй, наваливалась на неё, зять наваливался следом, но грузное тело свиньи словно выскользывало из-под них. Жена, сложив на груди руки, глядела из угла двора и приговаривала:

— Оставьте вы эту затею, батя придет с работы и заколет.

— Подождите, — сказал запыхавшийся зять, — у меня есть план. Нужны провода.

— Провода у нас есть.

Тёща забежала в сарайчик и принесла бухту проводов.

Зять размотал их, зачистил концы и в доме вставил в розетку. Оголенные концы проводов он намеревался засунуть свинье в ноздри, чтобы убить её таким образом.

Тёща одобрила план. Уж очень ей не хотелось платить денег соседу за убой свиньи. Муж её стал сентиментален и давно уже отказался от забоя животных.

Зять приказал теще обходить свинью сзади и на мгновение ее задержать. Тут нужны были ловкость и сноровка. Эти качества у него точно были.

Тёща взяла еду и пошла к свинье, приговаривая:

— Маня, Маня, трескай.

Свинья, любившая поест, остановилась и повела носом на блюдо.

Тёща поставила перед свиньёй блюдо и в то же мгновение навалилась на неё. Зять вставил оголенные провода в ноздри свиньи. Тёща отвалилась от отскочившей свиньи и упала замертво.

Бедного зятя осудили с формулировкой: «злумышленное и намеренное убийство своей тещи». Его посадили в тюрьму на двенадцать лет строгого режима. Так он потерял семью и самые радостные дни своей жизни.

Я размышлял о народе, когда получил указ служить в Кривополянском храме. Меня ставила в тупик ситуация, которую я не мог разрешить несколько первых воскресных служб. Отслужив Литургию, я не мог говорить проповедь. Я не знал, что говорить народу и как. Люди смотрели на молодого священника и как бы спрашивали: «Ну что ты мне можешь сказать нового?»

Шесть лет служения я провел в городе, в кафедральном соборе, преподавал в университете, читал курсы городской интеллигенции, а тут — бабушки в платочках.

Однажды, возвращаясь домой, я понял, что русский народ вместил самую главную заповедь Спасителя: «Положить душу свою за други своя».

Он может быть необразованным, даже неграмотным, он может не понимать глубоко правила своей веры, он может быть груб и невежествен, но он отзывчив и христоролюбив. Это есть в его крови, в его менталитете, в его образе жизни. Он этого не осознаёт, этого не понимает. Но что же из того? Ребёнок тоже не понимает, отчего он добр и кроток. Однако он добр, и ему не надо знать, почему он добр. Он совестлив и стыдлив, наш народ. Он открыт и прямодушен. Он не умеет создавать личину, или, как теперь говорят, «имидж», он такой, какой он есть. Все качества характера, и хорошие и плохие, сквозят в его прямодушии, и от этого он даже привлекателен. Размышляя таким образом, я успокоился и в следующее воскресенье заговорил. Говорил так, как говорил всегда, сложно и глубоко. И спросил у своих спутников-интеллигентов:

— А прихожане понимают меня?

— Понимают, — подбирая слова, отвечала мне

выпускница Свято-Тихоновского института, — но понимают не так... Не слова, а как-то по-другому. Но понимают определённо.

Мой сын не знает этого опыта, поэтому он так категоричен. А Вера? Вера — она и есть этот народ. Только она отличается от народа тем, что образованна. И если бы народ последовал примеру этой удивительной девушки, которая имеет по природе своей чистое, доброе, верующее русское сердце и светлый, направленный к развитию разум, такой народ был бы действительно народом-богоносцем. Народом-спасителем человеческой цивилизации.

Начало строительства

Мой дорогой мальчик! Хочу рассказать тебе о том событии, которое усилило мою веру в то, что храм будет построен.

Я помню, что после благословения и указа митрополита Серапиона о назначении меня настоятелем еще не существующего Михайло-Архангельского храма (представляешь, я был настоятелем, а храма еще не существовало!) меня охватила робость. Не было ни полущки денег. Я просыпался ночами, смотрел в темное окно (а мы жили, если ты помнишь, как раз рядом с частным сектором), слушал лай собак из разных дворов и думал: «С чего же мне начать?»

Отец благочинный, вручая мне указ, сказал:

— Мы поможем тебе умереть.

Это была шутка. Но мне-то было не до шуток тогда. Сейчас отца благочинного уже нет в живых. Он ушел из жизни, когда ему не исполнилось и сорока двух лет, умер от внутреннего кровотечения.

Я смотрел с шестого этажа в ночь на откусанную облаком луну, на темнеющие частные домики, на серебристую гладь реки, на освещенный фонарями мост, по которому медленно ползли редкие автомобили с тусклыми фарами, и думал: «Кто-то должен строить храмы? Почему этот кто-то не я? Если Богу угодно — храм будет стоять».

И перед моим мысленным взором тянулась вереница людей, которых я знал и которые мне могли бы помочь. Скажу тебе неутешительную вещь: когда приходят трудные времена, когда приходит беда, а строительство храма — это

трудные времена, близкие к тебе люди отходят в сторону. Вдруг открываются сердца. Я благодарен этому времени. Я никого не сужу, и у меня совсем нет обид. Просто я понял, что эти люди находятся на отдаленных кругах от эпицентра глобальных событий становящегося смысла. И это их выбор.

Храма не было. Мы совершали богослужения, молебны, панихиды прямо на улице. Собиралась небольшая горстка людей. Никто не верил, что в тех экономических условиях, в которых находилась страна, можно построить храм. В основном приходили старушки, видимо, из-за того, что они привыкли к храму и службам в нем, но сил добираться до городского собора и до храма в селе Двуречки, куда они обычно ездили, уже не было. Проходящие мимо с любопытством смотрели на жалкое собрание престарелых людей, охваченных страхом предстоящей смерти, как смотрят на только что случившуюся автомобильную аварию: все ли еще живы и какова степень разрушения автомобиля. На территории, отведенной под строительство храма, стоял только металлический гараж, пожертвованный главным инженером металлургического завода. В нем мы хранили церковную утварь и инструменты.

Однажды в кафедральном соборе, на соборном богослужении, на котором и я присутствовал, митрополит спросил отца-секретаря:

— Ну, как там у отца Седогина идет строительство? (Митрополит почему-то назвал меня по фамилии.)

— Поставил гараж на территории.

Митрополит усмехнулся.

— Неплохое начало, так, отец Петр? А-а? Гараж для машины уже есть.

При этом владыка даже не посмотрел в мою сторону.

Отец-секретарь понимающе улыбнулся и поддакнул митрополиту.

Наша епархия была территориально огромной. Резиденция митрополита находилась в другом городе, за сто двадцать километров. Часто приходилось ездить для отчетов и собраний. Годовой епархиальный отчет Владыки был особенно утомителен. Я называл это театром одного актера. Собиралась толпа людей в черных рясах, с бородами, — человек триста. Для подобных мероприятий арендовали Дворец культуры «Квартал».

Священство рассказывалось. Становилось тесно, душно. На сцену выходил митрополит, садился в архиерейское кресло за широкий стол, освещенный зеленой лампой и оборудованный микрофоном, и начиналось собрание.

— Меня хорошо слышно, а? — спрашивал митрополит, взглядываясь поверх очков в полуосвещенный зал.

Он видел всех без исключения. Даже мимика священника не могла от него ускользнуть.

Часто Владыка говорил пять часов подряд, читая подготовленный отчет о деятельности епархии, прерывая чтение разбором некоторых персоналий. Провинившийся священник поднимался и стоял ни жив ни мертв.

Чем грозили подобные разборки? Они грозили переводами священника в другой приход, с уже обжитого места, а многие из них были многодетны, и эти переводы очень осложняли жизнь семьи.

Когда я выбрал этот путь для себя, я относился к священнику с благоговением и искренним почтением.

Учась в Литературном институте, я нахватался религиозных идей, и Троице-Сергиева Лавра, Подворье Афонского монастыря в Переделкино с Храмом Преображения Господня, описанным в стихотворении Пастернака «Август», были моим вторым домом.

В Троице я дружил с семинаристами и академиками и любил приезжать на службы в академический храм, где пели четыре семинарских хора, которыми руководил известный в то время регент архимандрит Матфей.

В Переделкино я встретил своего духовника. Тогда в этом маленьком монастыре было только четыре монаха, подвизался знаменитый лаврский экзарцист, архимандрит Герман. Он наложил на меня после одной из исповедей епитимью — переписать Евангелие. Я переписал.

Книги религиозного содержания тогда не издавались, и достать их было нелегко. Только иногда в Троице монахи паломникам в Храме пророка Предтечи на исповедях из-под рясы доставали Евангелие и другие душеспасительные книги, раздавая их в подарок.

Моя рукописная книга была мной подарена одной рабе Божией, которая увезла ее на север, где не только книг, но и храмов не было.

Для меня любой священник был святым, учителем народа, совершителем Великого Таинства Евхаристии.

И однажды в первый или второй год своего священства я присутствовал на подобном собрании. Митрополит ругал молодого священника из семьи духовного сословия. Его отец был здесь же в зале собрания, кандидат богословия, седовласый отец Александр, переживший гонения советской власти, маститый протоиерей. Его сын, тоже священник, в чем-то провинился. Митрополит ругал молодого священника и напирал на то, что именно «сынки попов ведут себя развязным образом». Молодой священник, отец Николай, что-то попытался сказать в свое оправдание.

— Заткнись, щенок! — бросил ему митрополит.

Я сидел, опустив глаза, я боялся посмотреть в сторону отца Александра. Тишина на мгновение повисла в зале. Но митрополит продолжал как ни в чем не бывало.

Однажды я приехал в резиденцию митрополита и вошел в приемную, которая была пуста. Подождав немного, я осторожно стал продвигаться по полутемному коридору вглубь в надежде встретить хоть кого-нибудь из матушек или священства. Дверь в приемную митрополита была приоткрыта. Я невольно заглянул в нее. Митрополит сидел в кресле в простом коричневом подряснике, перепоясанном пояском, а перед ним на полу, на красивом красном ковре, сидели отец-секретарь из нашего города и еще один приближенный священник. Митрополит отламывал кусочки от большой просфоры и кормил их из своих рук. Каждый из них приоткрывал рот, а митрополит своими пухлыми пальчиками осторожно опускал в него святой хлебушек. Я поспешил удалиться на улицу. Мне вспомнился день, когда я, молодой священник, оказался за столом вместе с митрополитом. Угощали на славу. Владыка был разговорчив. Много шутил. И, похлопывая по лысой голове отца-секретаря, приговаривал:

— Вот отец Петр совсем польсел от общения со мной.

На что отец-секретарь отвечал шутливо:

— Нет, дорогой владыко, мне Господь «лице продлил».

Митрополит был очень доволен шуткой.

Да, были времена и были нравы...

Но я отвлекся.

Благочинный вызвал меня, нового настоятеля, и объявил:

— У архиерея юбилей, двадцать лет служения на нашей кафедре. Все храмы сдают деньги на подарки Владыке. С тебя двести долларов.

Это была большая сумма для меня в те времена.

— Почему в долларах? Нельзя ли в рублях? У меня нет долларов.

Благочинный перешел на шепот:

— Не знаю, может быть, они боятся потерять на обменном курсе.

В субботу утром я приехал в собор к благочинному и вручил ему конверт, подписанный «от Храма Михаила Архангела», в котором лежало двести долларов, стодолларовая купюра и две по пятьдесят, которые я выменял у валютчиков в центральном универмаге.

Вечером на стройплощадке, в котловане, мы совершали службу.

Это было всенощное бдение перед воскресным днем. Народу собралось человек семьдесят. Погода стояла теплая, но переменчивая. Конец августа. Было подозрительно тихо, когда я громогласно возгласил:

— Благословен Бог наш...

Не шевелилась ни одна ветка на высоких тополях, окружавших котлован с западной и северной сторон.

На шестопсалмии вдруг потемнело, потянуло влажным воздухом. Усилился ветер, с шумом закачались кроны деревьев, и полил дождь. Я взглянул на небо. Светло было лишь на западе. Виднелась небольшая светло-бирюзовая холодная проталина.

Дождь усиливался, и я понимал, что служба сорвана.

— Иди объяви людям, чтобы они расходились по домам, — шепотом сказал я мальчишке-алтарнику, — а мы будем продолжать.

Я знал, что службу останавливать не положено. Это как при запуске космического корабля — пятнадцатиминутная готовность. Запускается система, и уже нет обратного отсчета. Ничего нельзя остановить и вернуть назад. Нечто подобное существует в нашем Православном Богослужении. Особенно это касается Литургии. Если ты начал Евхаристический ка-

нон, ты должен завершить Его. Только смерть может быть для тебя извинением.

Алтарник жестами и словами стал провожать людей домой, предлагая им расходиться.

— Они не двигаются с места, — шипел он мне в ухо, с намокшей головой и плечами. Видно было, что ему хотелось остаться со мной вдвоем и героически завершить Богослужение.

— Мир всем, — возгласил я в порядке Богослужения, повернувшись к народу. Все стояли под проливным дождем, склонив намокшие, потемневшие белые платки. Дождь продолжался всю мирную ектинью утрени, весь канон, хвалитны и затих только к первому часу. Примерно тридцать минут. Евангелие читали под зонтом. Прихожане стояли и молились. Воздух был напоен сыростью и влагой, набегающий ветер сбивал с листьев капли, которые беспорядочной дробью осыпали богомольцев, плечи студила вечерняя прохлада, вдалеке раскатисто урчали раскаты грома.

После окончания службы, после отпуска я повернулся к людям.

— Благодарю вас, дорогие братья и сестры, что вы не оставили меня одного у Престола.

— Ну как же мы своего батюшку бросим! — раздавалось со всех сторон. — Что ж мы... Бог терпит и нам велит...

— Вы сегодня напомнили мне мучеников Севастийских, которые, несмотря на холод, стояли в замерзающем озере, чтобы остаться верными Христу. Мы вместе построим храм. Теперь я в этом уверен.

— Помогай Бог батюшке, а мы уж подсобим... — не успокаивался народ.

— Спаси вас, Господи, за вечер молитвы, ступайте по домам.

Народ, переговариваясь и поёживаясь от холода, торопливо стал расходиться.

После службы удивленные бабушки позвали меня в гараж.

— Батюшка, посмотрите, что положили нам в кружку. Басурманские деньги.

Когда они показали их, я был поражен. В кружке лежали стодолларовая купюра и две по пятьдесят.

— Вы знаете, — сказал я им, — храм будет. Есть Божие благословение!

Как я мог рассказать им про доллары на подарок митрополиту? Этих денег со всех храмов соб-

ралось более девятист тысяч в русских рублях, на них митрополиту купили золотую Панагию с камнями. Но наши деньги вернулись уже вечером. Всё случившееся было для меня знаком Божиего присутствия. Это укрепило мои силы.

Я отложил исписанные листочки и взял в руки со стола оставленную раскрытую книгу и продолжил читать.

«С сотворения мира пребывала церковь земная непрерывно на земле и пребудет до совершения всех дел Божиих по обещанию, данному ей Самим Богом. Признаки же ее суть: внутренняя святость, не позволяющая никакой примеси лжи, ибо в ней живет дух истины; внешняя неизменность, ибо неизменен Хранитель и Глава ее Христос.

Все признаки церкви, как внутренние, так и внешние, познаются только ею самой и теми, которых благодать призывает быть ее членами. Для чуждых же и непризванных они непонятны, ибо внешнее изменение обряда представляется непризнанному изменением самого Духа, прославляющегося в обряде. Церковь и ее члены знают внутренним знанием веры единство и неизменность своего духа, который есть дух Божий. Внешние и непризнанные видят и знают изменение обряда внешним знанием, не постигающим внутреннего, как самая неизменность Божия кажется им изменяемою, в изменении Его творений. Посему не была и не могла быть церковь изменною, помраченною или отпадшею, ибо тогда она лишилась бы духа истины. Не могло быть никакого времени, в которое она приняла бы ложь в свои недра, в которое бы миряне, пресвитеры и епископы подчинились предписаниям и учению, не согласному с учением и духом Христовым. Не знает церкви и чужд ей тот, кто бы сказал, что могло в ней быть такое оскудение духа Христова. Частное же восстание против ложного учения, с сохранением или приятием других ложных учений, не есть и не могло быть делом церкви: ибо в ней, по ее сущности, должны были быть всегда проповедники, и учителя, и мученики, исповедующие не частную истину с примесью лжи, но полную и беспримесную истину. Церковь знает не отчасти-истину и отчасти-ложь, а полную истину и без примеси лжи. Живущий же в церкви не покоряется ложному учению, не принимает таинства от

ложного учителя, зная его ложным, не следует ложным обрядам. И церковь не ошибается сама, ибо есть истина; не хитрит и не малодушничает, ибо свята. Точно так же, по своей неизменности, не признает ложью то, что она признавала когда-нибудь за истину; объявив общим собором и общим согласием возможность ошибки в учении какого-нибудь частного лица, или какого-нибудь епископа, или патриарха (как, например, Папы Гонория на Константинопольском Соборе в 680 году), она не может признать, что сие частное лицо, или епископ, или патриарх, его преемники, не могли впасть в ошибку по учению и что они охранены от заблуждения какою-нибудь особой благодатью. Чем святилась бы земля, если бы церковь утратила свою святость? И где была бы истина, если бы ее нынешний приговор был противен вчерашнему? В церкви, то есть в ее членах, зарождаются ложные учения, но тогда зараженные члены отпадают, составляя ересь или раскол и не оскверняя уже собой святости церковной».

Любовь и смерть

Девушка лет семнадцати стояла в сторонке и смотрела в мою сторону, пока я разговаривал с прихожанкой. Я слушал и с интересом поглядывал на взволнованную незнакомку. Как только прихожанка отошла, девушка решительно подошла ко мне.

— Вы можете повенчать меня с моим молодым человеком? — торопливо спросила она. — Но скажу вам прямо: он болен, он ВИЧ-инфицирован.

— Сколько вам лет? — удивился я.

— Ему двадцать два, мне девятнадцать.

— Родители благословляют вас?

— Мои родители на Украине. Я здесь живу у бабушки и учусь. Они мне разрешают замуж, они просто не смогут приехать на венчание. Я беременна уже. Беременна, да.

— И родители знают о твоей беременности?

— Об этом еще не знают.

— А ты? — я замаялся, не зная, как спросить, но девушка догадалась о моем намерении.

— Я не знаю, больна ли я или нет, но я беременна от него.

— Беременна? От этого человека?

— Ну да. Мы просто любим друг друга. И ес-

ли нужно будет умереть, то мы вместе умрем. Это любовь, понимаете?

— Кто первым из вас заболел?

— Когда я с ним познакомилась, он был уже болен.

— И он не пожалел тебя?

— Он не хотел, чтобы я была с ним. Я этого хотела. У нас любовь, понимаете, настоящая любовь. Сейчас он себя очень плохо чувствует. У нас осталось, может быть, несколько дней. И нам надо успеть повенчаться. Вы повенчаете нас?

Я задумался.

Она выглядела простой девушкой. Не хорошенькая, не плохонькая, посредственная. Не выделялась ничем: ни внешней красотой, ни яркими одеждами. Простая бедная девушка. Может быть, она уже больна СПИДом?

— Сколько вы вместе?

— С января.

На дворе стоял апрель.

— Он наркоман?

— Да, он кололся. Я так хотела его снять с иглы. И мне удалось, но слишком поздно.

— Тебе надо обследоваться. Ты носишь ребенка.

— Знаете, сейчас не во мне дело. Ему очень плохо. Он может умереть со дня на день. Вы повенчаете нас?

— Хорошо, приходите.

— Сегодня можно?

— Нет, сегодня вторник. Венчание не положено. Венчают в среду, пятницу и воскресенье. Приходите завтра.

— Мы придем. В какое время?

— Приходите после службы, к одиннадцати дня.

Она пошла к выходу. Я смотрел на нее и думал: «Это безумие. Она уничтожила свою жизнь. А он помог ей. Но почему ей не страшно?»

Я не мог понять, почему я согласился. Сомнения терзали меня. Я должен буду соединить их. Но если он действительно болен и, повенчавшись с ней, вскоре оставит её одну с ребенком, что она будет делать? Видимо, отношение к Таинству брака у них легкомысленное. Сейчас надо заявить о своей любви всему миру и Богу, а если случится страшное, то можно о браке забыть и начать новые отношения. Но я, как священник, должен разъяснить глубину Таинства, всю его

серьезность, чтобы у брачующихся появилась ответственность за судьбу друг друга. Завтра я посмотрю на них и тогда буду принимать решение, чтобы не уподобиться священнику, который тайно венчает молодых, незрелых людей.

Я приехал домой. Из комнаты Ивана доносились звуки работающего процессора.

— Опять за компьютером, — произнес я.

Я разделся. Снял подрясник, крест. Пошел в кухню. Немытая сковорода. Остатки яичницы и масла. В раковине — грязная тарелка, на столе крошки хлеба. Помыл посуду, сковороду. Подошел к двери, постучал.

— Да, пап.

— Можно к тебе?

— Можно.

Лежит в пижаме. Весь в компьютере.

— Что делаешь? Играешь в покер?

— Пап, подожди. У меня отборочный турнир.

— Куда?

— На телевидение, «Рен-TV», «Звезда покера». Знаешь такую передачу?

— Я не смотрю телевизор, кроме новостей.

Сын ни разу не глянул в мою сторону.

— Мне надо кое-что с тобой обсудить, Иван.

— Нет, только не сейчас. Я обыграл пять тысяч пятьсот тридцать человек. Мне осталось немного, и я буду заполнять анкету.

— Сколько же ты сидишь?

Мельком взглянул в угол монитора.

— Уже шесть часов.

— Ладно, освободись, дай знать.

Когда же я упустил его? Его отрочество пришлось как раз на мои первые шесть лет служения. Только что отдали верующим собор, который был краеведческим музеем. Союз рухнул, рухнула коммунистическая идеология. Октябрята, пионеры, комсомольцы, наигравшись, словно дети, побросали значки и галстуки. Их родители пошли в церковь, чтобы обрести забытые идеалы справедливости и добра для себя и своих потерявших отпрысков. Первая Воскресная школа, которая образовалась в соборе, насчитывала триста человек детей разного возраста.

Я не восстанавливал собор. Я служил день и ночь. На приходе настоятель и секретарь в одном лице, отец Петр. Он все время занимался административными делами. Было два свя-

щенника: я и отец Стефан. Мы служили, я помню, два года подряд с момента открытия: одну неделю — отец Стефан требный, я служащий, вторую неделю — он служащий, я требный — два года подряд без отдыха и отпусков. Если учесть, что приходилось исповедовать по две тысячи человек и причащать на праздники тремя чашами в течение часа — нагрузка была большая. Но и вера большая, и ревность «была не по разуму». Однажды я соборовал один двести человек, читал и помазывал участников таинства шесть часов. Люди молились, а среди них было много старушек.

После четырех лет служения без выходных и отпусков я угодил на четыре месяца в больницу. Ослабла мышца сердца, и требовалось долгое восстановление. Отец-секретарь приходил один раз с коробкой конфет. Архиерей никому не верил.

Я думал тогда (об этом же мы мечтали в Литинституте), что пришло время спасения России. Русский народ обретет свои святыни, восстановит традиции и культуру. И мы были счастливы послужить этому на первом форпосте Святой Христовой Церкви.

Общежитие на Новослободской по адресу: Москва, ул. Добролюбова, 11 гудело в свободные от учебы часы. Литературная богема обсуждала в прокуренных комнатах «бессмертные» произведения будущих великих литераторов, поэтов, прозаиков и эссеистов. Пили водку и крепкий чай, курили дешевые сигареты «Прима». А мы — Владимир Чугунов, Михаил Резин и я — читали Василия Васильевича Розанова, «Пути русского Богословия» Георгия Флоровского издательства «Имка-Пресс». Читали вслух Андрея Платонова, его «Чевенгур» и «Котлован». Молились, соблюдали посты, ездили в Лавру и Переделкино на исповедь и причастие.

Однажды к нам зашел один поэт, известный в узких кругах, и спросил:

— Ребята, какая у вас программа?

Он был пьян и напыщенно серьезен. Это был 1985 год. Нас считали диссидентами.

— Наша программа не нова для России, — ответил Володя Чугунов. — Православие, самодержавие, народность — это высказал еще Сергей Семёнович Уваров.

Нас воспринимали серьезно, но не понимали.

Позже, после окончания Литинститута, мы,

все трое друзей, не сговариваясь, приняли священный сан иереев божьих.

Однажды к нам в комнату зашел Олег Азиков. Это был большой, сильный человек. Он работал в Днепропетровске металлургом и учился заочно в мастерской прозы Владимира Амлинского.

Он сидел в нашей комнате общежития и восторженно слушал разговоры о духовности, о церкви. К тому времени он был не крещен. Время было позднее, и мы прощались. Завтра надо было рано вставать, спешить на Ярославский вокзал к первой электричке, чтобы ехать в Лавру.

— Возьмете меня с собой? — спросил Олег.

— Конечно.

— А мне можно, я ведь некрещеный?

— Можно. Будешь стоять как оглашенный.

— Как это — оглашенный?

— Когда услышишь возглас в церкви «оглашенные, изыдите», сейчас же выбегай из храма, — мы с Мишей Резиным сдержанно улыбались. — Знаешь, есть такое выражение в народе: «Что ты носишься как оглашенный». Это вот от этого осталось. Понял?

— Понял.

Выходя из комнаты, он неожиданно схватил мою руку и поцеловал. Это был большой, мужественный человек.

Когда он, смущаясь, выбежал, Володя Чугунов сказал:

— Пророчески поцеловал твою руку. Быть тебе священником.

Позже мы привели его в церковь, и он перекрестился, взяв крестным отцом меня.

Потом жизнь нас разбросала.

Где ты, Олег Азиков, трогательный и добрый человек?!

Ревность наша «по Бозе» была неуправляемой. Мы готовились изменить мир, вернуть народу его культуру, задуманную Советами, вернуть святыни православия, показать единственный путь спасения через церковь и через опыт великих отцов христианства.

В первый год служения отец Владимир Чугунов, который происходил из глубинной российской Нижегородской губернии, давшей миру великих аскетов и бунтарей протопопа Аввакума, Ивана Неронова и патриарха Никона, устроивших смутное время в России в XVII веке, разделившее жизнь русской церкви на два истори-

ческих этапа — до раскола и после него, — Великим постом принялся за аскетические подвиги. Ни с кем из домашних, кроме пятилетнего Никиты, не разговаривал, вкушал пищу (хлеб и воду) один раз в день, совершал Богослужение по строгому уставу Великопостных служб, ничего не сокращая, чем измучил поющих и читающих в храме. Дома не выходил из молитвы, к матушке не прикасался, боясь оскверниться. Звонил мне и говорил, что спасение России начнется отсюда, из Николо-погоста, из Никольского храма, что надо строить еще два храма поблизости для меня и отца Михаила, во имя Святой Троицы. Требовал приехать не позднее окончания Великого поста с семьями и начинать соборное Богослужение.

— Будешь завтра, в воскресный день, служить, — говорил он мне по телефону, — в момент причастия произнеси слова: «Господи, причасти меня Сам».

Тон разговора был сокровенно-тайнственный, касающийся только посвященных. Матушка его сообщала, что она «в ужасе, Володенька на себя не похож, разговаривает только с Никитушкой, говоря, что уста младенца глаголят истину и что будет исполнять только то, что Никитушка скажет».

Мы с отцом Михаилом, московским композитором Владимиром Щукиным, бросив всё, отправились в Троице-Сергиеву лавру к архимандриту Кириллу. Друзья-академисты проводили нас обходными путями к батюшке. Отец Кирилл встретил нас приветливо, но сдержанно. Усадил на лавку, помолвившись перед образом Спасителя, сел напротив нас, поглаживая свою длинную, совсем белую бороду. Он был худощав, впалые щеки, бледный цвет лица и поблескивающие живые глаза говорили о глубокой внутренней духовной жизни этого человека. Великий пост на весь его облик словно отпечатывал состояние молитвенной отрешенности. Говорил он глуховатым голосом, скороговоркой, простой русской речью:

— Говорите вы, — обратился он к отцу Михаилу, — вы же ближе всех к вашему брату находитесь.

— Да, отец Кирилл, ближе всех, в сорока километрах друг от друга служим.

— Что же вы по-братски редко общаетесь, разве не знаете слов: «Хорошо нам, братья,

спасаться вкупе», — отец Кирилл ласково смотрел на нас. — Коли так было бы, не случилось бы и беды. А теперь поезжайте к брату вашему, исправляйте ошибку.

— Дайте совет, отец Кирилл, — взволнованно, с забившимся сердцем, обратился я, закашлявшись, — отец Владимир слушать никого не слушает, матушку сделал первым врагом, после того как она нам по телефону рассказала о его сумасшествии. Разговаривает только с младшим сыном и ничего не ест, кроме хлеба и воды.

— Вера его настоящая, и ревность его Богу приятна, вот только опытности нет совсем, — как бы сам с собою тихо говорил батюшка. — Но этот иску́с надлежит пройти.

Воцарилось молчание. Мы во все глаза смотрели на словно застывшую фигуру архимандрита Кирилла. Черный клобук его подчеркивал белизну лица и свет, исходивший из выцветших глаз. Говорили, что это был тот самый старший лейтенант Павлов, именем которого назван дом в Волгограде. Единственный уцелевший во всем городе дом после кровопролитного Сталинградского сражения, который стал символом мужества и героизма. Рассказывали, что защитнику Павлову по его горячим молитвам явилась Богородица и помогла выстоять. А после войны лейтенант Павлов ушел в монастырь и принял монашество.

— Я вам дам номер телефона. Как приедете к нему, а поезжайте незамедлительно, через сутки позвоните.

Батюшка встал со стула, взял со стола листочек из заготовленной стопки бумаг, карандаш и крупно написал номер телефона. Мы подошли под благословение.

— Писатели? — спросил нас батюшка, улыбаясь кроткой, едва заметной улыбкой.

— Были писатели, теперь священники, — гордо ответили мы.

— А одно другому не мешает, — взяв мои руки, ласково говорил отец Кирилл, — дар слова нужен одинаково и священнику, и писателю. Но дар этот «свыше есть», вот о чем надо помнить и кому надо служить.

Мы нашли отца Владимира, подозрительно и даже враждебно настроенного по отношению к нам. Матушку он обвинял в пособничестве Дьяволу, что она, якобы по его подсказке, пригласи-

ла нас, чтобы помешать ему в деле спасения. Целые сутки мы пытались разговорить батюшку, вспоминали студенческие годы, забавные случаи, чтобы как-то вернуть его в прежнее состояние, но он ни на что не реагировал. Называл нас «пустыми людьми, насмешниками и слугами сатаны». Делать было нечего. На свои силы мы не надеялись, надо было звонить отцу Кириллу.

Батюшка долго не подходил к телефону. Наконец мне удалось дозвониться, и только я начал рассказывать о том, что здесь происходит, отец Кирилл кратко сказал мне:

— Свяжите его и положите на лавку. Через сутки развяжите и везите ко мне.

Отец Владимир почти не сопротивлялся, когда мы вчетвером с молитвой «Да воскреснет Бог!» приступили к нему с веревками. Он лежал смиренно, только обличал нас и матушку да просил сидеть рядом с собой Никиту. Всю ночь мы попеременно дежурили в кабинете отца Владимира. Утром стали уговаривать его ехать к архимандриту Кириллу в Лавру, сказав, что только после его согласия развяжем. Батюшка согласился при одном условии: взять Никиту с собой. Матушка залилась слезами, представив долгое путешествие своего дитяти с четырьмя мужчинами. Но вскоре успокоилась и согласилась. Желание здоровья своему мужу пересилило материнский инстинкт.

Всю дорогу мы молчали. Отец Владимир был угрюм. Прижимал к себе Никиту, которому объятия отца мешали созерцать меняющиеся за окнами картины природы.

Отец Владимир вошел к архимандриту Кириллу и вышел через пятнадцать минут со словами:

— Я был в прелести.

Взгляд его прояснился, он стал прежним. Мы обедали у Щукиных. Единственное, о чем попросил отец Владимир за трапезой, — не исполнять песен во время Великого поста. Невозможно было представить визит к Щукиным без песен знаменитого композитора. Но возражать никто не стал.

— Па, представляешь, я отобрался. Я в числе финалистов. Они скоро пришлют мне вызов в Москву. О чем ты со мной хотел поговорить?

— Присядь. Знаешь, Иван, есть такая поучительная история.

Иван закатил глаза и покусывал губы.

— Ну послушай. Это тебя касается.

— Ну давай.

— Один юноша влюбился в женщину древней профессии, женщину плохого поведения.

— Па, я знаю.

— Ну вот. Он спешил к ней на свидание. Погода была ужасная. Дождь лил не переставая. А ему надо было преодолеть большое расстояние. Он должен был переплыть реку. Потоки воды усиливали течение волн, плыть было трудно. Он увидел, что плывет большое бревно, и хватился за него, а это оказался крокодил, который, видимо, был сыт и не сожрал его.

— Па, я где-то уже это читал, по-моему, у Коэльо.

— У Коэльо это есть?

— Ну да, не помню, в какой книге.

— Удивительно, он это списал из Вед.

— Из Вед?

— Да, из индийских Вед. Помнишь, чем кончилось?

— Не очень.

— Тогда я расскажу тебе. Переплыв реку при помощи аллигатора, он вышел на берег и пошел дальше. Перед ним вырос высокий забор, который он должен был преодолеть. Зацепившись за лиану, он стал вскарабкиваться. Но почувствовал под рукой что-то живое. Вместо лианы оказалась змея. Но и она, по счастливой случайности, не укусила его. Короче говоря, он, вымокший до нитки, уставший и испуганный, но счастливый, добрался до своей возлюбленной. Сел перед ней и стал рассказывать свои невероятные приключения, которые претерпел ради нее. Она внимательно смотрела на него и вдруг серьезно сказала:

— Знаешь, те испытания, которые ты перенес, не стоят наших отношений. Если бы ты так шел к Богу, ты был бы самый возвышенный святой на свете.

Эта мысль взволновала его, и он ушел от нее. Позже он стал одним из возвышеннейших святых, а ее поминал всю жизнь как свою наставницу.

— Ну и зачем ты мне это рассказываешь?

— Ты шесть часов сидишь перед компьютером, делая огромные усилия, чтобы победить шесть тысяч человек, играя в покер, эту сатанинскую игру. А ведь ты не холоп, а батюшкин сын. Если бы так шел к Богу или к настоящему делу жизни,

ты очень много мог бы достичь. Понимаешь?

— Пап, ну опять ты говоришь одно и то же, — он пыхтел и вертел носом. — Идти в семинарию, не имея глубокой веры, вот как у тебя, нет смысла. Зачем я буду обманывать людей или ходить на работу, как все это делают. Здесь же нужно призвание. Вот ты нашел себя. Я очень этому рад, конечно. А я себя еще ищу.

— Ты что, не имеешь веры в Христа Спасителя? Ведь ты не холоп, а батюшкин сын!

— Я верю. Но не настолько, чтобы быть священником, как ты.

— Ты изучай, Ваня. Может быть, ты не там ищешь, сынок?

— Я изучаю, — нетерпеливо и уже раздражаясь произнёс он. — Это все?

— Нет-нет, постой.

Разговор с девушкой о венчании не выходил у меня из головы.

— Вот ситуация, — я рассказал ему о девушке и наркомане, — скажи, почему она так себя ведет? Почему у нее нет страха? Ты понимаешь своих сверстников? Объясни мне, чтобы я понял.

— Она просто дура, вот и все. А он отморозок.

— Вань, подожди. Может быть, у нее настоящая, большая любовь к этому парню.

— Какая сейчас может быть любовь?!

— Такая, как, например, у Шекспира в «Ромео и Джульетте». Оба мертвы. Мы помним эту возвышенную любовь.

— Па, не смейся меня.

— Нельзя допустить этого? Она пришла с самым серьезным намерением связать себя с этим человеком в верности, навсегда, понимаешь. Она пришла просить повенчать их.

— Пап, вот он умрет, этот наркоман, она найдет такого же обманщика и будет его спасать, если сама, конечно, не окачурится. Они адреналинщики, эти современные тусята. Они без драйва жить не могут, понимаешь?

— Неужели все так стало просто. Просто и плоско? В наше время...

— Пап, в ваше время секса не было, вот в чем разница вашего и нашего времени.

— Ну как ты рассуждаешь?!

— Как все.

— Когда человек входит в храм, он становится настоящим, самим собой, глубоким. И он хочет быть таким, какой он есть в глубинах самого се-

бя. Жизнь не позволяет ему этого, понимаешь?

— Понимаю. Ну повенчай их.

— Повенчать?

— Повенчай... — он удалялся в свою комнату, на ходу громко крикнув:

— И назови их Ромео и Джульетта!

— Я не договорил с тобой. Я хотел сказать тебе о вкусах к счастью и о призвании. И ещё о Вере. Ты так плохо вёл себя.

Он вернулся и, глядя мне в глаза, сказал:

— Пап, а вот о Вере не надо говорить. Я ничего не хочу знать о ней. А сейчас мне некогда, у меня встреча.

Он хлопнул дверью. Я зажег лампаду перед иконой Божией Матери и открыл Канон молебный. Я вспомнил о маленьком мальчике Илюше, стал молиться за него, пытаюсь вникать в каждое слово Канона, пропускаю его через свое сердце. Но мысли о сыне сбивали меня. Чистой молитвы не было. «Он повзрослеет, его интересы изменятся, — успокаивал я себя, — ведь это мой ребенок, мой сын. Природа возьмет своё. Он пересилит заблуждения молодости, он будет читать книги и будет развиваться. Он получит знания через искусство, и опыт жизни сделает его глубоким, серьезным».

Я сел писать мои листочки.

О благочестии

Дорогой Иван! Я обещал тебе рассказать о твоем единственном слове «благочестие». Тайна Христа — это как раз и есть тайна благочестия.

Буду говорить на понятном тебе языке. Благочестие — это ресурс. Его можно сравнить вот с чем. У тебя есть компьютерная игра. Твой герой идет по уровням, и у него в запасе несколько жизней. Проходишь разные препятствия, и твой герой теряет жизни, одну за другой. И вот наконец сгорает последняя, и машина возвещает «game over», игра закончена. Может быть, ты пройдешь все уровни и останешься жив, но это зависит от многих факторов. Не будем вдаваться в тонкости игры. Для меня важен этот образ.

В жизни бывает так: у кого-то много благочестия, этого таинственного ресурса, у кого-то меньше. От чего он зависит? Он зависит в первую очередь от наследственности. Если предки человека сделали в жизни что-то хорошее, нап-

пример, делали много добра людям, служили Родине и церкви, были военными, помогали нищим, любили все живое, они передадут много благочестия потомкам. А если предки не делали добрых дел, а, наоборот, убивали, разрушали, притесняли, терроризировали людей, издевались над животными, они оставят меньше благочестия. Меньше жизней. Как в компьютерной игре! Так вот, этот ресурс очень важен. Мы проходим уроки жизни и поднимаемся по уровням, чтобы стать совершенными. И этот ресурс, ресурс благочестия, помогает преодолевать препятствия в жизни и подниматься по уровням.

Например, святой человек. Он имеет огромный запас благочестия. Его ресурс впечатляет. В нем большие жизненные мощности. Он может совершить противоестественный для себя поступок, согрешить, съесть кусок мяса, которого он не вкушает уже, может быть, двадцать пять лет, и это не осквернит его сознания, потому что он покрывает этот поступок, этот грех своим благочестием. Он даже может совершить более страшный грех, но Бог не вменит ему грех в грех, то есть не осудит его, потому что сила благочестия покрывает это преступление. Другой же человек, обладающий небольшим ресурсом благочестия, совершая преступление, может пострадать и даже лишиться жизни из-за болезни или несчастного случая. Потому что нет у него столько благочестия, чтобы покрыть преступление. Машина-жизнь может сообщить «game over», окончание игры.

Конечно, мой мальчик, святой человек не станет искушать Бога, совершая преступление, потому что сила разума его такова, что он стремится к творчеству, к тому, чтобы создавать целые миры.

В одном из апокрифических Евангелий есть очень известный сюжет. Маленький Христос у реки Иордан из глины лепит птичек. Он творит, как все дети, любящие рисовать и лепить. Ты тоже в детстве любил это. Проходит мимо саддукей, хранитель Моисеевых законов, и обличает его в том, что он работает в субботу. Отрок Христос огорчается, что прерывают его детскую игру. Он ставит своих птичек в ряд и, взмахнув руками, произносит:

— Шух, летите!

Птички становятся живыми, вспархивают и

радостно взмывают в небо. Каждый человек способен творить, вдыхать жизнь в материю. Но для этого нужна энергия благочестия. Сакральная вещь — это благочестие!

Я думаю, дорогой мой мальчик, что сейчас деградация современного человечества такова, что люди живут уже в сновидении ада. И их самосознание находится на уровне неразумных детей. Задача же человека, приходящего в этот мир, состоит в том, чтобы понять через высокие принципы самосознания, какая сила благочестия скрывается в нем! Или какие страсти, какие немощи разрушают его судьбу, уничтожают его жизнь. Человек должен стать существом с высоким принципом самосознания. От этого зависит вся жизнь человека и его счастье.

Глубинная память ума хранит всю информацию о жизни наших предков. В тебе живу я, твоя мать, мой отец и моя мать, родители моей матери и моего отца и так далее по роду. Все генетические программы рода живут и проявляют свою непреложную силу. Они раскрываются в твоих мыслях, твоих желаниях и привязанностях. Все, что желали наши предки и не получили в жизни, переходит желаниями в тебя. И часть из них может быть тобой реализована. Потому что все желания имеют непреложную силу, и все они осуществятся, только вопрос: когда? В жизни моего отца, в моей жизни, твоей или жизни твоих детей? Желания стоят в очереди, но какие это желания? Это вопрос Гамлета «быть или не быть?», совершить поступок или не совершать его?

Многие люди не задумываются об этом, они просто живут. Но человек, понимающий глубину жизни, размышляющий о своем призвании, жаждет понять, зачем жизнь кончается смертью? Он становится на путь самопознания. Он воспитывает в себе высокие принципы самосознания. И те желания, которые хаотично возникают в его голове, контролируются им. Особенно те, которые способны уничтожить его цели на пути к высокому счастью и разрушить его судьбу. Он освобождается от них, он отсекает их от себя. Весь смысл жизни человека-аскета (ты знаешь смысл этого слова) заключается в том, чтобы очистить глубинную память ума от всех разрушительных привязанностей и желаний и сделать хотя бы один шаг к духовному миру, к истоку, из которого все произошло.

И в этом — ответственность личности за судьбу своего рода. Понимаешь? Жители земли не осознают этой ответственности. Вместо того чтобы очищать себя от преступлений и порочных привязанностей, накопленных по цепи рождений и смертей рода, и приближать свой род к духовному миру, они приобретают новые желания и новые привязанности и страсти и тем самым осложняют жизнь будущих поколений. Это как селевой поток, сорвавшийся с горы, все живое уносящий и погребаяющий под толстым слоем грязи и камней. Кстати, мой дорогой, природные катаклизмы возникают как раз из-за отсутствия творческого участия человека в космических процессах мироздания. От этого, кстати, исчезают целые виды растений, животных и птиц.

Ты спросишь меня, что же делать тем, кому не повезло? Тем, кто при рождении не получил достаточно благочестия, чтобы быть здоровым и преодолеть все удары судьбы? Я отвечу тебе. Общение. Вот самое главное, что должен помнить человек, не имеющий ресурса благочестия. Общение с благочестивыми людьми. От этого соприкосновения он будет получать духовную энергию и восполнять свой скудный ресурс.

Гениальность нашей церкви — в ее Таинствах, и в этом смысле Таинства священства удивительны. Я знаю несколько случаев из жизни, когда неблагополучная семья выбирала себе духовника и становилась счастливой. У главы семьи хорошо складывался бизнес, сын оканчивал университет, дочь, не отличавшаяся целомудренной жизнью, удачно выходила замуж и рожала детей, мать молилась и участвовала в строительстве храма. Она, мать, во всем помогая священнику, через его благочестие устраивала жизнь своей семьи. Но потом священника оклеветали, и она отошла от него. В течение трех лет муж потерял бизнес и не выходил из судов, дочь заболела тяжелой болезнью, которой по женской линии матери страдала ее бабушка, и в семье воцарился страх.

Россия знала великих старцев, которые окормляли (то есть кормили пищей благочестия) тысячи и тысячи русских людей, управляли их жизнями, давали им и веру, и надежду, и любовь. Их святые мощи и память о них хранят этот неисчерпаемый ресурс благочестия и продолжают окормлять несчастных. Но чудес становится все

меньше, потому что велико падение сознания современных людей.

Вот что такое благочестие, мой дорогой мальчик. Помни об этом. Помни всю свою жизнь. И когда ты задумаешь согрешить, подумай, хватит ли у тебя благочестия покрыть твой грех.

Ромео и Джульетта по-русски

Апрель выдался прохладным. Пригревало солнце, снег растаял, но из земли еще не вышел холод, скопившийся за долгую зиму. Он поднимался вверх, весенний ветерок подхватывал его и перемешивал с теплыми потоками воздуха, но ещё чувствовалось дыхание зимы. Ветви деревьев наполнялись соками, выпрямлялись и приобретали розоватый оттенок. Совсем скоро набухнут почки, распдутся и появятся клейкие листочки, свидетельствуя о пробуждении природы.

После зимы рабочие неторопливо начинали обживать стройку. Ставились строительные леса. Подвозилась в мешках сухая шпаклевка, краска. Все материалы складывались в металлическом гараже, из которого тянуло холодом и сыростью.

В начале апреля молодой бизнесмен Андрей Бизин привез сто мешков цемента на грузовой машине, принадлежавшей его компании. Это было его второе пожертвование на строительство храма.

Прошлым летом у него на шестьдесят втором году жизни умер отец. Болезнь пришла неожиданно, и за два месяца полный сил человек превратился в старика. Я приехал в их загородный дом, чтобы отпеть покойного.

Андрей, которого я не видел несколько лет, держался возвышенно строго. Поминутно глаза его наполнялись слезами.

— Я не знаю, сделал ли я все необходимое для своего отца, — с болью повторял он, — отец умер в больнице. Это неправильно. Человек должен умирать в своем доме, в окружении любящих его родных людей.

Я слушал его и думал о том, что чувство вины возникает у всех людей, которые теряют близких. Кто может быть уверен в том, что он сделал все, что мог, для своих родителей? Но сильнее всего чувство вины охватывает после трагических месяцев болезни, которая завершается

смертью. Порой кажется, что мы можем повлиять на судьбу человека, но она всецело принадлежит не нам, а премудрому промыслу Божьему.

— Если бы я уговорил его ехать на лечение в Германию, — твердил Андрей, — он был бы жив. Мне не жаль денег. Но свободных не было, нужно было вытаскивать из моего неокрепшего бизнеса. Отец это знал и всячески удерживал меня. Ая, получается, не очень-то и настаивал. И была эта мелкая мыслишка, — Андрей кривил губы и покачивал головой, — что все обойдется и бизнес не пострадает. Противно...

Я отпел его отца, он попросил телефон и через два дня приехал на стройку.

— Чем я могу помочь строительству храма, отец Евгений?

Я попросил цемент. Этот материал уходил очень быстро.

На другой день он привез сто мешков сыпучей смеси. Этого хватило на целое лето.

Утром, перед богослужением, я, поёживаясь от весенней прохлады, обходил стройку. Там рабочие бросили лестницу у стены, забыли мешок с цементом, а ночи холодные и сырые. Кирпича достаточно, хватит на пару недель работы...

Служба отошла. Я завершал панихиду.

В половине одиннадцатого в храм пришла девушка в черном платке. Я не сразу узнал в ней вчерашнюю мою просительницу.

— Он умер, — сказала она, — вы придете к нам?

Глаза потемнели от слез, лицо осунулось, черныи платок старил ее.

«Все-таки она его любила», — подумал я.

— Умер? Когда? — удивился я.

— Сегодня в четыре тридцать утра. Вчера потерял сознание, впал в кому. Сейчас он в морге.

— Когда будете хоронить?

— Завтра днем. А можно отпеть на улице, во дворе у подъезда?

— Можно, — согласился я, — днем уже не холодно.

— Это совсем рядом с храмом, — сказала она, — во дворе продуктового магазина.

— Будете выезжать из морга, позвоните мне, и я подъеду. Хорошо?

Она записала мой телефон и, сгорбившись, молча пошла к двери. Я окликнул ее.

— Подожди.

Она остановилась. Я подошел к ней.

— Что собираешься делать?

Слезы полились у нее из глаз. Она зарыдала и слегка прильнула ко мне. Минуту я стоял не двигаясь.

— Простите, — произнесла она глухим голосом, смутившись и всхлипывая, — я вам завтра позвоню.

Она торопливо вышла из храма.

«Что с ней будет?» — подумал я.

Окончание следует



Геннадий РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН —
поэт, прозаик.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Автор шести книг стихов, прозы и эссе:

«Рождественские загары», «День, ниспосланный Тобой»,

«Временное и вечное», «Искренне только небо»,

«Невидимое присутствие», «Трудности перевода».

Публиковался в альманахах Академии поэзии с 2010 года, в международных сборниках МАПП «Зеркало жизни» и «Планета поэтов».

Член Союза писателей России,

Международной ассоциации писателей и публицистов,

член-корреспондент Академии российской поэзии.

Председатель регионального отделения

Союза писателей России в Липецкой области.

Лауреат Литературной премии имени Евгения Замятина (2011).

Живет в Липецке.

В журнале «Север» публикуется впервые.

